

ГРЭМ ГРИН

Рассказы Грина

Самые известные рассказы Грина, включая «Милый, добрый Джеймс», «Самый лучший друг», «Самый лучший друг».

ГРЭМ ГРИН

Распутник: Обезьянка лорда Рочестера или Жизнь Джона Уилмота, второго графа Рочестера

Большинство дел человек совершает со столь ничтожным эффектом, что мне (ставшему в последнее время суеверным) думается, что грешно нам смеяться вот хотя бы над этой обезьянкой, сравнивая ее проказы с нашими. Из письма лорда Рочестера Генри Сэвилу

Будь я особым даром наделен,  
Известным с незапамятных времен,  
Свободно принимать любую статью  
И жизнь в чужом обличье проживать,  
Я стал бы обезьяной, мишкой, псом,  
Стал тварью, обделенною умом,  
Премного мнящим о себе самом!

Рочестер. Подражание Восьмой сатире Буало

Предисловие

Лорд Рочестер[1]

Ко времени создания этой книги (1931–1934) единственным жизнеописанием Джона Уилмота, графа Рочестера, предпринятым в XX веке, был труд немца Иоганна Принца, изданный в 1927 году в Лейпциге.

Тогда, в начале тридцатых, царила трудно представимая ныне атмосфера чуть ли не викторианского ханжества. «Любовник леди Чаттерли» и «Улисс» пребывали под запретом; и не слишком удачный сборник стихотворений Рочестера, изданный в 1926 году Джоном Хэйвордом, избежал той же участи только потому, что вышел тиражом всего в 1050 экземпляров. В 1931 году, когда я решил взяться за эту работу, Хэйворд предостерег меня такими словами: «Подготовленная мною книга не могла бы увидеть свет никаким иным тиражом, кроме заранее ограниченного, и, если бы книготорговцы не расхватили ее по предварительным заявкам, сборник непременно снабдили бы грифом "Распространяется только по подписке". Но и так часть тиража, отправленная в Америку, была уничтожена нью-йоркской таможней». Сборник, составленный Хэйвордом, несмотря на изобилие ошибок, оказался однако же важной публикацией — и, по сути дела, впервые привлек внимание современного читателя к Рочестеру как к поэту первого литературного ряда. До тех пор его

стихи печатали только в антологиях поэзии эпохи Реставрации, причем предельно выборочно, подобно шедеврам Ричарда Лавлейса и Джона Саклинга. Рочестера по-прежнему считали порнографом и держали на дальних полках в Британском музее и Публичной библиотеке, казуистически пометив их греческой буквой «?»[2] (и держат так, должно быть, по сей день). Серьезным ударом для меня стало отклонение уже написанной биографии моим постоянным издателем Хайнеманном, и я не решился предложить ее кому бы то ни было другому. Оставалось уповать на то, что издателя не устроила сама тема, а вовсе не ее решение — возможно, он опасался преследований за распространение порнографии, тем более что тот же страх владел и Хэйвордом: «Прошу Вас учесть тот факт, что вполне вероятное выдвижение обвинения в распространении порнографии против Вас может коснуться меня и моих издателей!»

Через пару лет профессору Пинто удалось под покровом академической мантии опубликовать собственное жизнеописание Рочестера — и я не без гордости обнаружил, что многие из моих открытий от его внимания ускользнули. Впрочем, большинство ошибок оказалось устранено в переработанном издании 1962 года, вышедшем под названием «Остроумец-энтузиаст». Интерпретация известных нам обоим фактов, понятно, дело другое: профессор куда крепче моего убежден в непричастности Рочестера к нападению на Джона Драйдена в Аллее Роз, да и натуру нашего общего героя мы понимаем по-разному. Впрочем, столь сложный характер поддается «драматизации» (по слову Генри Джеймса) далеко не одним-единственным способом. Чем дольше я работал над биографией поэта, тем полнее раскрывалась передо мной его человеческая сущность.

Значение поэзии Рочестера ныне неоспоримо. Рочестер унаследовал от Джона Донна технику страстного поэтического монолога. Донн сознательно добивался определенной шероховатости стиха, стремясь передать звучание естественной речи; даже в его самых мелодичных вещах безусловно преобладает разговорное начало. Личный вклад Рочестера в развитие той же традиции заключается в вовлечении в поэтический канон эпохи (однако без разрушения его) заведомо и однозначно бордельных грубостей. Его собственный любовный опыт был печален, и он разделял ожесточенную горечь Донна. Дух вечно воевал с плотью; неверие Рочестера имело едва ли не столь же религиозный характер, как вера, присущая настоятелю собора Святого Павла[3]. Он ненавидел предмет своей страсти с необычайной интенсивностью, окрашенной в темные тона, смешивая воедино любовь, похоть, вражду и смерть.

Кочергою и метлой,

Не пускающими струй,

У моей красотки злой

Насмерть в лоне пошуруй.

Личная судьба обоих поэтов и дух эпохи обрекли их на то, чтобы стать сатириками. Согласно свидетельству Обри, Эндрю Марвелл назвал Рочестера «лучшим британским сатириком, причем прирожденным». А вот Александр Поп допустил ошибку, объявив Рочестера (наряду с практически безымянным Бакхерстом) поэтом-дилетантом. Над намеренной непричесанностью поэтической речи, добиваясь ее совершенства, Рочестер трудился ничуть не меньше, чем Донн. У него были высокие творческие притязания, и нижеприведенные строки из «Послания к О. Б.», представляющие собой в контексте стихотворения саморазоблачительный монолог персонажа, вполне могли бы быть переадресованы ему самому:

Один я; одного себя люблю;  
Я слушаюсь того, что сам велю...  
Мне нравятся стихи мои порой —  
И славы мне не надобно другой.  
А если счастлив я таков, как есть,  
К чему мне ваша доблесть, ум и честь?  
Несносен я; несносен буду впредь —  
Не мне себя, а вам меня терпеть!

Я предпринял попытку последовательно увязать воедино жизнь и творчество Рочестера, но вместе с тем постарался не дать чрезмерной воли собственному воображению. Я включил в текст множество прямых цитат и привел в конце книги список использованных источников[4]. От подстрочных примечаний я решил, за редчайшими исключениями, воздержаться, потому что книга адресована в первую очередь не учащимся, а широкой публике. В ее интересах — и по согласованию с издателем — я пошел на определенную модернизацию орфографии и пунктуации. Прочерки и отточия, которыми заменены в стихотворном тексте отдельные слова, не являются свидетельством современного ханжества: с прочерками соответствующие стихи печатались и в самых ранних публикациях.

И наконец, слова признательности. За появление книги, пусть и столь запоздалое, я должен поблагодарить Джона Хэдфилда и его коллегу Джорджа Спайта, заметивших упоминание о неизданной рукописи в моей автобиографии, и главного библиотекаря Техасского университета, позволившего нам скопировать мою оригинальную рукопись (машинопись), некогда приобретенную им в личное пользование. Увы, за годы, прошедшие после завершения работы над книгой, многие мои тогдашние помощники уже отошли в мир иной. Прежде всего следует упомянуть Джона Хэйворда, составителя сборника стихов «Несуществующий Рочестер», который помог мне советами и рекомендациями; помог, наряду с прочим, и избежать повторения ошибок, некогда допущенных им самим. (Рочестер способствовал возникновению нашей многолетней дружбы, прервавшейся только со смертью Хэйворда.) Я признателен покойному лорду Сэндвичу, позволившему мне изучить Хинчингбрукский архив и впервые опубликовать два письма Рочестера к Элизабет Малле; лорду Диллону, ознакомившему меня с машинописной копией писем леди Рочестер, хранящихся в Дитчли-парке; лорду Сэквиллу, предоставившему мне возможность изучить фамильный фонд Сэквиллов в Британском архиве; заместителю начальника отдела архивов Британского музея, обеспечившему мне доступ к фондам ограниченного пользования; библиотекарю дома-музея Шекспира, ознакомившему меня с антологией фольклора, изданной в XVIII веке; графу Лисберну, разрешившему мне воспроизвести ряд гравюр из его собрания. Я обязан советами и помощью преподобному Монтегю Саммерсу; Г. Д. Зиману, почетному секретарю Общества вспомоществования народным библиотекам; полковнику Уилмоту Возну, потомку поэта; мисс Элси Корбетт, составительнице «Истории Спелсбери». Каждый, кто стремится стать биографом Рочестера, обязан поблагодарить Иоганна Принца, создателя первого жизнеописания поэта, хотя английскому читателю не просто ознакомиться с его книгой, и к тому же в ней встречаются ошибки и неточности, обусловленные нежеланием Принца учитывать материалы, хранящиеся в исторических архивах.

Я не использовал новые сведения, впервые введенные в обиход профессором Пинто; разве что, ориентируясь на обнаруженные им рукописи, внес известные изменения в текст стихов по сравнению с «Несуществующим Рочестером». Пинто раскопал множество предварительно упущенных мною фактов, связанных с путешествием Рочестера по континентальной Европе в обществе сэра Эндрю Бэлфура, но я не включил их в книгу — и потому что записки Бэлфура далеко не обязательно связаны с его поездкой вместе с Рочестером, в них ни разу не упоминаемым, и потому что мне не хотелось приукрашивать свою работу за счет профессора Пинто; я ограничился теми незначительными изменениями и улучшениями, которые наверняка предпринял бы в процессе подготовки книги в печать сорок лет назад, если бы мне посчастливилось найти для нее издателя уже тогда.

I

Общий пейзаж

1

Генри Уилмот, первый граф Рочестер, и Анна Сент-Джон, графиня Рочестер[5]

К деревне Спелсбери в Оксфордшире можно подойти с запада по дороге, по которой в годы гражданской войны сначала в одну, а потом в другую сторону промаршировала пехота парламентаристов Эссекса, теснимая с обоих флангов кавалерией Генри Уилмота, — по дороге, ведущей через гребень Котсуолдса в Чиппинг-Нортон. Добравшийся туда путник, оставив за спиной лишние малейших признаков растительности холмы, бредет вдоль ровных пастбищ, отделенных друг от друга глинобитной стеной, делает небольшой крюк, обходя здешнюю церквушку, и, преследуемый тучами мошкар, поднимается по каменной лестнице до опушки черного Вичвудского леса. Одноэтажная каменная богадельня, выстроенная Джоном Кэри по поручению старой леди Рочестер, севшим на землю соколом нахохлившаяся прямо посередине луга, и бесчисленные одуванчики, кажущиеся в лучах солнца капельками росы, — ничто другое не способно, пожалуй, привлечь внимание нашего путника. В церковном склепе покоится прах Рочестеров: первого графа Генри Уилмота, «кавалера»[6], перезахороненный сюда из Брюгге; его жены — умной, страстной и полной предубеждений женщины, которой выпал жребий пережить мужа, сына и внука; Джона Уилмота, поэта и второго графа Рочестера; его жены и сына. В самой церкви нет ни памятной доски, извещающей об этом захоронении, ни длинного перечня достославных деяний и добродетелей дорогих умерших, какой было принято вывешивать в те времена.

На северо-востоке Вичвудский лес редееет, постепенно переходя в более или менее ухоженный Дитчли-парк, — именно здесь и появился на свет будущий стихотворец то ли 1, то ли 10 апреля 1647 года, в «приземистом бревенчатом доме с замечательной лужайкой», как описывает это строение Джон Ивлин.

Имение Дитчли, Оксфордшир: «приземистый бревенчатый дом с замечательной лужайкой» (Джон Ивлин)[7]

Мать поэта Анна, дочь сэра Джона Сент-Джона, была вдовой сэра Фрэнсиса Генри Ли, которому и принадлежало поместье Дитчли. Она вышла замуж в 1635 году, овдовела и осталась с двумя сыновьями в 1637-м, а в 1644-м вышла за лорда Уилмота.

Это было не просто новое замужество; брачный союз с Уилмотом означал для нее полную смену политических предпочтений. Ее первый муж, пасынок лорда Уорвика, по семейной традиции принадлежал к парламентаристам; ее второй муж был одним из самых удачливых полководцев в роялистской армии — именно он за год до свадьбы разбил войско сэра Уильяма Уоллера при Раундвейдаун. Нельзя не восхититься искусством, с каким эта дама поддерживала равновесие, сохраняя за собой имение Дитчли и уберегая его от связанных с гражданской войной тягот и в годы Английской республики, приверженцем которой был ее первый муж, и в период Реставрации, когда пришла пора опереться на личную дружбу с королем, которого ее второй муж некогда сопровождал в бегстве из Вустера. Уилмота она, можно сказать, толком и не узнала. Командир королевской кавалерии в свободное от сражений время занимался главным образом дворцовыми интригами. Принц Руперт терпеть не мог Уилмота, Карл I вяло поддерживал своего генерала — и большая часть энергии, предназначенной для уничтожения противника, уходила у него на нейтрализацию соперников в собственном лагере. В год рождения первенца Уилмот был уличен в контактах с Эссексом, преследующих цель навязать королю не слишком выгодные для него условия мира; его с позором прогнали с воинской службы — и только популярность в армейских кругах спасла графа от более тяжкого наказания. Ему позволили удалиться в изгнание в Париж, где он тут же осрамился бесчестным поведением в дуэльном поединке со своим главным врагом лордом Дигби — и навсегда выпал из истории родной страны и своей семьи.

Карл II, переодетый в платье слуги, бежит из Вустера в сопровождении Джейн Лейн и Генри Уилмота[8]

В промежутке между второй победой над Уоллером при Кропреди-Бридж и окончательным падением, среди интриг и заговоров, Генри Уилмот изыскал возможность зачать сына. Не исключено, что именно судорожные метания, свойственные той эпохе, породили скандальный слух, перенесенный на бумагу Энтони Вудом[9], не слишком разборчивым изучателем старины: «Знающие люди безоговорочно заверили меня в том, что подлинным отцом Джона, графа Рочестера, является сэр Ален Эпли из Кента». В это, однако же, чрезвычайно трудно поверить. Тем более что добродетель леди Уилмот больше нигде не подвергается сомнению, если не считать еще одного исторического анекдота, записанного тем же Вудом:

Леди Уилмот из Беркса, беспечная особа, известная своей похотливостью, в 1656 году присутствовала, наряду с другими дамами, на субботнем вечере в музыкальной школе, где с резкой проповедью против женщин и в особенности против женского тщеславия выступил преподобный Генри Тарман. Перебив оратора, леди Уилмот вскричала: «Сэр, вы не правы!» и принялась повторять то же самое громким голосом на разные лады, надеясь сбить священника с мысли. Однако Тарман, будучи человеком резким и смелым, ответил ей еще громче: «Мэм, если я не прав, значит, правы вы!» Все присутствующие расхохотались, а леди Уилмот села на место и пониже надвинула чепец.

Это забавная история, и она не слишком противоречит характеру женщины, привыкшей не церемониться в речах и уже на склоне дней публично обвинившей мужа собственной внучки в супружеской измене, подделке завещания и кое в каких вещах похуже; но «беспечность» и «похотливость» звучат фальшиво. Леди Уилмот, даже вздумай она и впрямь изменить мужу, сделала бы это скорее темпераментно и величаво. Ураганом пронеслась она по жизням собственного мужа, сына и невестки, вечно всем недовольная и бурно выражающая протест, — даже припав к ложу находящегося при смерти сына, она не упустила возможность

выказать ненависть и презрение одному из его дружков, горемычному Уиллу Фэншоу.

Но о том, что Генри Уилмот является подлинным отцом поэта, свидетельствуют не только косвенные соображения. На портретах (написанных, соответственно в Хинчингбруке и в замке Уорвика) у обоих мужчин одинаково тяжелые веки, одинаково узкие лица; да и характером сын безошибочно походит на отца, каким того описывает лорд Кларендон: «Уилмот был человеком высокомерным и властолюбивым, остроумным и, скорее, рассеянным, как будто он вечно размышлял о нескольких вещах сразу... На военном совете он не выступал с предложениями, а словно бы приказывал, причем любые возражения встречал в штыки...» Этот портрет Кларендон дополняет позже, сравнивая Уилмота с лордом Горингом, сменившим его на посту командира королевской кавалерии: «Человек гордый и амбициозный; человек, которому всего и всегда было мало... Он сильно пил и всегда верховодил в компании собутыльников, число которых было весьма изрядным. Душой общества он был даже в большей мере, чем его соперник Горинг, да и денег ухитрялся тратить больше, чем тот».

Разве это не родной отец человека, признавшегося однажды Гилберту Бернету[10], что он не был трезв уже пять лет подряд; человека, сыпавшего во время застолья такими перлами, что его собутыльники не позволяли ему протрезветь? Да и довольствоваться малым (или чем бы то ни было) он, подобно своему отцу, не желал. Это был мятущийся и ничем не способный удовлетвориться дух или, если угодно, демон, которого духовник матери на панихиде по нему описал пусть и уклончиво, но с далеко не клерикальным восторгом:

И в его сумасбродных поступках, и в творчестве сквозило нечто единственное в своем роде, нечто парадоксальное, нечто выходящее за пределы понимания других людей; губя свою душу и толкая других на стезю порока, он добровольно обрекал себя на ничуть не меньшие страдания, чем апостолы и древние святые, умерщвлявшие плоть, чтобы спасти душу и наставить ближнего на путь истинный... Да, он настолько погряз во грехе, что было в этом, пожалуй, и нечто великомученическое.

И опять-таки вспомним образ отца, каким он возникает под пером лорда Кларендона:

Уилмот любил попойку, однако никогда не смешивал ее с делом; за дело же брался уверенно и решал его как правило удачно. Горингу были присущи куда лучшее понимание общей ситуации, куда более острый ум (кроме как в застолье, но тут на его соперника накатывало вдохновение), большая смелость и хладнокровие в минуту опасности; Уилмот же тянул с решительными действиями, насколько это было возможно, и, осознавая, что в прямом столкновении может оказаться не слишком хорош, предотвращал его заранее или умело уклонялся от него... Ни тот, ни другой не держали своего слова (ни в человеческом общении, ни в профессиональной деятельности), не блюли правил чести или хоть какой бы то ни было порядочности; но Уилмот совершал бесчестные поступки с меньшим удовольствием и только если это сулило ему выгоду или соответствовало его собственным представлениям о правоте... Амбиции у обоих были непомерные, а аппетиты ненасытные; моральные ограничения в вопросе о средствах достижения цели отсутствовали напрочь; но Уилмоту все же были присущи определенные сомнения религиозного свойства — ему не хотелось испустить дух, имея репутацию вселенского грешника.

Описание явно недостаточной смелости отца позднее будет чуть ли не в тех же словах повторено (пусть и незаслуженно) применительно к сыну; я имею в виду историю о прерванном поединке с Малгрейвом и чуть было не состоявшуюся (или тоже прерванную при невыясненных обстоятельствах) драку в Эпсоме. Литературные интриги, достигшие кульминационной точки в момент нападения на Драйдена в Аллее Роз («моральные ограничения в вопросе о средствах достижения цели отсутствовали»), придут на смену политическим; тогда как в религиозных сомнениях Генри Уилмота можно усмотреть тот же душевный конфликт, который вдохновил Рочестера на создание его лучших стихотворений.

Друг Рочестера драматург Этеридж вывел его под именем Дориманта: «Я знаю, это дьявол, — но и в чёрте, копнув поглубже, ангела найдешь».

Астролог Гэдбери через восемнадцать лет после смерти Рочестера опубликовал его гороскоп, и конфигурация звезд и планет оказалась достаточно вразумительной:

Он родился 1 апреля 1647 года, в 11 часов 7 минут утра, под покровительством благородной и щедрой на дары музы. Солнце доминировало в небе при рождении, тогда как в предшествующие часы правила Луна. Сочетание Венеры с Меркурием в шестой доле Луны ясно указывает на склонность к поэтическому творчеству. Нахождение на единой оси Солнца, Марса и, далее, Юпитера сулило новорожденному такое изобилие душевной и деятельной энергии, что в дальнейшем под его натиском не мог бы устоять никто.

Да ведь и впрямь имелись все основания рассчитывать на благополучное будущее новорожденного; отец сбежал в Париж — и его тамошние дебоши никак не могли повлиять на судьбу сына; в годы гражданской войны в Англии воспрял дух благородства, рыцарственности — дух, если угодно, Древнего Рима, — бесследно развеявшийся впоследствии. Великие люди жили и умирали в те дни; тот же Страффорд подал пример истинного героизма предавшему его королю. Лорд Фолкленд, присягнувший на верность обоим станам, в отчаянии бросился искать смерть в сражении при Ньюбери — и нашел ее. Эпитафию лорду Ферфаксу, победителю при Несби, написал герцог Бекингем (что достаточно любопытно, если вспомнить, что самого герцога Поп назвал «властителем бесплодных полчищ»):

Ферфакс — храбрец; кто, как не он,

С самой Победой обручен?

Мужей и жен черты объединив,

Он то порывист был, то терпелив,

То яростен, то кротко справедлив.

Ни злобен не бывал он, ни зловец;

Был беспристрастно честен, строг и прям;

И — в наши дни неслыханная вещь —

Он скромн был и знал об этом сам.

Новой школе беспутных поэтов во главе с Саклингом, даже в самых неприглядных ее поделках, был присущ некий благородный идеал, растаявший впоследствии, в годы Протектората[11], в атмосфере удручающей бедности, повального бесчестья и всеобщего крушения надежд. Героизм выродился в героику, да и сама-то героика стала всего лишь названием зарифмованного двестишия — так называемого «героического куплета», — и актеры в тяжелых париках, исполняя роли цезарей, императоров Индии и индийских вождей, напыщенно декламировали эти куплеты дамам в черных масках в партере и королевским фавориткам в ложах.

Леди Уилмот принадлежала, скорее, прошлому, в ней было нечто от древнеримских матрон, — и когда королевская власть рухнула, а ее супруг оказался с позором изгнан из страны, она



всецело посвятила себя воспитанию сына и сохранению за собой поместья, которому предстояло в надлежащее время перейти к нему. Последняя задача стала особенно сложной после того, как казнили Карла I, потому что ее муж, никогда не скрывавший дружбы с принцем Уэльским, отныне уже не был всего-навсего попавшим в опалу сторонником короны. Напротив, он сразу же превратился в одного из главных злоумышленников, строящих из-за рубежа козни против родной страны. Однако его влияние вновь стало очевидным, как только молодой король назначил его своим постельничим; он вошел в правительство в изгнании (состоящее всего из четырех человек), с членами которого Карл II советовался по всем вопросам; причем советы Уилмота неизменно взывали к действию — какому угодно, где бы то ни было и любой ценой. Двое угрюмых шотландцев, прибыв в Гаагу, предложили Карлу в обмен на обещанную ими поддержку подписать соглашение с пресвитерианской церковью — и с явным неодобрением следили за тем, как молодой король неумело строит из себя святошу. За все же воспоследовавший росчерк королевского пера — лживый, ничего не значащий и вероломный — значительную долю ответственности несет Уилмот. Бесчестье и предательство, какими дышала вся эта афера, стали зловещим и только в этом смысле достойным знаменьем только что начавшегося царствования, — и нам известно, что один из членов делегации, очевидно более щепетильный, чем его спутник, испытал угрызения совести. Звали его Александр Жоффре, и в его дневнике мы читаем:

Будучи в 1650 году вновь посланы туда (в Голландию) парламентом по тому же делу, мы самым прискорбным образом впутались в эту историю сами и вовлекли страну, не говоря уж о несчастном принце, к которому мы обратились; мы заставили его поклясться на Библии и подписать соглашение, которое, как нам было известно наверняка (да он и сам не скрывал этого), было ненавистно ему до глубины души. Но, осознав, что только при условии подписания он может быть приглашен править нашей страной (и убедившись в полной непригодности любых других средств), молодой принц самым прискорбным образом поддался шантажу, которому мы его самым прискорбным образом подвергли, — причем, не стану скрывать, на мой взгляд, наша вина оказалась более тяжелой.

Уилмот был одним из главных движителей всей аферы, основанной на «дружбе» с шотландцами. Одним из тех немногих, кто сопровождал молодого короля в Англию и изрядно скандализировал пресвитерианцев собственным поведением. Он был с королем в сражении при Вустере и стал его спутником в последовавшем бегстве с поля брани. Путешествуя под именем мистера Барлоу (не единственный и не последний псевдоним, которым он пользовался), Уилмот прибыл с королем в Брайтон и обосновался на постоялом дворе на Западной улице. Оттуда они на лошадях добрались до Шорхэма, после чего на рыбацкой лодке переправились во Францию.

Может быть, именно сомнительная роль, сыгранная Уилмотом при бегстве короля, заставила леди Уилмот тоже покинуть Англию, поскольку 1653–1654 гг. она с детьми провела в Париже. Гайд (будущий лорд Кларендон) 15 августа 1653 года в письме из Парижа ее супругу, ставшему теперь графом Рочестером и рыщущему по Германии в поисках денег для нужд престола, упомянул о том, что малолетний сын Уилмота всегда с волнением ждет отцовских посланий; он присовокупил также, что шестилетний Джон пребывает в отменном здравии и отцу следует гордиться таким первенцем. И в новом письме (в мае 1654 года) Гайд сообщает, что леди Рочестер не желает ехать в Англию, не повидавшись с мужем, но в беседе с самим Гайдом она выказала решимость оставаться в Париже до тех пор, пока не будет окончательно названа точная дата возвращения в Англию короля; к этому же принуждают ее обстоятельства, в частности состояние Фрэнка (ее сына от первого брака), едва оправившегося от тяжелой болезни.

Однако уже через две недели (как вытекает из следующего письма Гайда Уилмоту) ее терпению приходит конец. «Ваша супруга измучена пребыванием в Париже, а бедный Генри — тем паче; они уже близки к тому, чтобы уверовать в огульный навет, будто в Париже и впрямь самый гиблый воздух во всем мире». Леди Рочестер была не из тех, кто упивается

жизнью при дворе, да и двор Карла был тогда таков, что не мог бы ничем порадовать ни гуляку, ни моралиста. С одной стороны, как известно, у Карла была в изгнании семнадцатилетняя фаворитка; по вечерам весь двор пел, плясал и веселился «так, словно мы одержали победу», а с другой — при дворе все дышало самой настоящей нищетой, королевских лакеев сажали в долговую яму, посуда уходила в ломбард, вельможи, теряя достоинство, кланчили деньги в долг.

Карл II в ссылке на балу пляшет «так, словно мы одержали победу»[12]

Дитчли-парк, пусть над ним и нависла угроза конфискации со стороны Протектората, манил леди Уилмот куда сильнее, чем танцы и забавы на пустой желудок и призрачные надежды придворных хохотунов. Она была прирожденной помещицей; иных свидетельств о ее жизни в городе и тем более пребывании при каком бы то ни было дворе до нас не дошло. Если не считать собственных детей, сильнее всего она была привязана к Джону Кэри, многолетнему управляющему обоими ее именьями, Дитчли и Эддербери, который неизменно брал на себя заботы, по праву причитавшиеся сначала ее мужьям, потом сыновьям, а в конце концов, и внукам. Уже будучи в весьма преклонном возрасте, она написала о нем внуку, графу Личфилду, с как правило не свойственной ей нежностью:

Бедный Кэри так глубоко удручен смертью жены, что я боюсь, как бы мы не потеряли и его тоже. Грустно смотреть, как он переживает. Разумеется, она и впрямь была хорошей женщиной, и отличной женой, и безупречной домохозяйкой, но болела она так тяжело и долго, что с некоторых пор стало казаться чудом, что она вообще еще жива. Я не сомневаюсь в том, что мне суждено с ним проститься. Я слышала, что он даже в собственном доме оставаться не хочет или не может, потому что там нет ее. А если он отойдет от дел, то сразу же умрет, потому что только дела хоть как-то удерживают его на плаву. В твоих собственных интересах тебе следует убедить его не уходить в отставку, пребывая в таком унынии, потому что тогда уж за ним на старости лет определенно никто не присмотрит.

Неизвестно, сколько времени провела леди Уилмот в Париже и повидалась она с мужем или нет. В 1656 году она уже определенно вернулась в Дитчли, потому что именно в этом году она спасла имение от конфискации его Кромвелем. Ее мужу велели выслать бумаги на поместье в целях его полной или частичной конфискации, а леди Рочестер настаивала на том, чтобы исключить из общей описи владений ее второго мужа примыкающее к ним имение, унаследованное ею от первого супруга-пуританина. Она обратилась к лорду-протектору с жалобой, в которой утверждалось, что «поскольку (ее нынешний) муж не заинтересовался (ее примыкающим к его владениям) поместьем... все юридические процедуры, угрожающие нынешнему статусу, должны быть прерваны и признаны излишними». Окончательный итог тяжбы нам неизвестен, но Бернет утверждает, что лорд Рочестер не оставил сыну «почти ничего, кроме чести и титула». И в 1657 году мы вновь находим леди Рочестер в Дитчли, где ее навещает сэр Ральф Верней — человек с заслуженно безукоризненной репутацией, ставший после кончины Генри Уилмота подлинным наставником и заступником ее сыну.

Сам Уилмот умер в 1658 году в Бельгии и поначалу был похоронен в Брюгге.

Между отъездом жены из Парижа и смертью мужа супружеской чете Рочестеров представился случай повидаться, хотя маловероятно, что эта возможность была ими использована.

В 1655 году Рочестер пустился в последнюю из роялистских авантур до завершения эпохи Протектората, прибыв в Англию инкогнито. Вопреки предостережениям со стороны членов тайного общества остающихся на родине сторонников престола (так называемый «Тугой

Узел»), изгнанники решили осуществить вторжение, и Рочестер сам вызвался вернуться на остров для подготовки такового. Он тайно высадился на берег в Маргейте и, добравшись до Лондона примерно 23 февраля, укрылся в доме некоего портного на Олдерсгейт-стрит.

Это было рискованное предприятие. Агентами и осведомителями Кромвеля кишели каждый крупный город и каждый порт, и поэтому вполне вероятно, что и план вторжения, и имена заговорщиков стали известны лорду-протектору заранее. В месяц предполагаемой высадки Рочестера на берег во все портовые города, включая Рай и Маргейт, было послано предписание тщательно допрашивать и подвергать личному обыску всех, кто прибудет с континента. Самого Рочестера по дороге в Лондон останавливали и допрашивали дважды, и трудно понять, каким образом ему удалось избежать ареста. Потому что хитрить и лукавить он не умел; особенно выпив; а пил он, разумеется, постоянно.

В письме от 8 марта, написанном одним из заговорщиков, Дэниэлом О'Нилом, королю («мистером Брайаном — мистеру Джексону»), ярко обрисована жизнь тогдашних конспираторов, проникнутая неуверенностью, взаимными подозрениями, обманами и постоянным страхом перед возможным разоблачением. Сир!

Получив Ваше распоряжение уладить вопрос о долгах, я примчался сюда как на крыльях, — но только затем, чтобы обнаружить, что все Ваши счета и доходные предприятия находятся в страшном беспорядке вследствие отсутствия на месте одних Ваших сторонников, сознательного пренебрежения собственными обязанностями со стороны других и отчаяния, охватившего третьих из числа тех, к кому Вы велели мне обратиться, каковые пребывают в тех же чувствах, о которых писали Вам сами. Так что и мистеру Амброузу (Николасу Армореру), и мне самому начало казаться, что ничего путного здесь предпринять невозможно — и уж лучше нам было бы вернуться домой, чем тратить деньги без малейшей пользы для Вашего дела. Мистер Эрвил (сэр Томас Армстронг) отговорил меня от незамедлительного возвращения, убедив в том, что удастся перекомпоновать Ваши долги, причем с легкостью, если только Вы облечете меня дополнительными полномочиями... В тот же самый день я переговорил примерно с полдюжиной джентльменов, которые радостно заверили меня в том, что готовы скостить долг вдесятеро, лишь бы Вы получили возможность вернуться из изгнания... (И тут) с Божьей помощью мистер Ротэлл (лорд Рочестер) прибыл в Лондон с искомыми полномочиями, которые вдохнули новую жизнь во все предприятие, так что всего за пять дней, проведенных им в городе, мы уладили все Ваши дела способом, который, как мы надеемся, не даст Вам повода гневно нахмуриться. Мистер Уиллингс (Запад), мистер Ньюет (Север), мистер Кэттинг (Чешир) и мистер Сент-Оуэн (Шрусбери) пообещали погасить векселя в тот же день, да и остальные не заставят ждать себя долго. Я чуть было не позабыл сообщить Вам о том, что Ваш верноподданный слуга Нопли (Кент) в настоящее время не в состоянии сослужить Вам надлежащую службу, так что ожидавшиеся от него деньги следует изыскать где-нибудь в другом месте. Причина временной неплатежеспособности мистера Нопли заключается в том, что сейчас у него живет чуть ли не вся семья мистера Эксфорда (войско). Мистер Катс (Кромвель) прислал их к нему, прослышав о том, что мистер Кинсфорд (король) собирается стать его непосредственным наследником... Мистер Ротэлл отправился в Йейтс (Йоркшир), к себе домой. Он так спешил добраться туда, что не нашел времени написать Вам, за что и просит нижайше Вашего прощения... Должен отметить, что мистер Ротэлл оказался едва ли не лучшей кандидатурой на роль Вашего полномочного представителя на переговорах с кредиторами, но многим тут у нас он не понравился, причем я и сам небезосновательно разделяю общую неприязнь к нему; кое-кого удивил и тот факт, что в дело не вступил мистер Офилд (лорд Ормонд), в результате чего Ротэлла можно было бы отозвать и подойти к решению вопроса с куда большей ответственностью; не говоря уж о том, что, явись Ротэлл к нам два месяца назад, когда его, собственно, и ждали, Вы с женой и детьми уже наверняка были бы вместе с нами.

Но вечером того же дня, когда было написано это письмо, «мистер Ротэлл» встретился с йоркширскими «кавалерами» на Марстонских болотах — и с разочарованием увидел сотню

всадников там, где надеялся найти четыре тысячи. Восстание пришлось отменить, роялисты рассеялись и затаились, а Рочестер помчался на юг. Но и в других частях страны дело обернулось пшиком — и повсюду, кроме западных графств, завершилось без единого выстрела.

И вновь, как после поражения при Вустере, нашему герою сопутствовала невероятная удача. Во французском платье и парике он, можно сказать беспрепятственно, добрался до Лондона. В Эйлсбери Рочестера с Николасом Арморером допросил местный шериф, после чего приказал владельцу постоялого двора, на котором они остановились, посадить их под замок. Но один из них простился с золотой цепью — и за такую мзду трактирщик позволил им удалиться в ночь, оставив, правда, у него и весь свой багаж. И конечно, главным врагом Рочестера было его собственное пьянство. Выпив, он выкладывал первому встречному все свои тайны, в результате чего не раз мог угодить в тюрьму, а то и на плаху. В Лондоне агент Мэннинг, узнав о том, что Рочестер предпочитает кабак на Друри-лейн, произвел там обыск. В результате полиция схватила лорда Байрона и несколько других «кавалеров», однако Рочестеру удалось улизнуть. С риском для жизни проведя в Англии чуть более трех месяцев, он в начале июня вернулся в Гаагу. Есть основания предположить, что успеху его бегства из Англии способствовал полковник Хатчинсон (республиканский губернатор Ноттингема в отставке), жена которого была в родстве с леди Рочестер. В эпоху Реставрации, когда была предпринята попытка вычеркнуть имя Хатчинсона из списка лиц, на которых распространялся Акт о прощении и забвении[13], леди Рочестер выступила в защиту полковника, навлекая на себя тем самым гнев Кларендона. «Он помог графу Рочестеру уйти от ищеек Кромвеля, уже схвативших было моего покойного мужа, когда тот, во исполнение воли Его Величества, в последний раз был в Англии».

Меж тем в Дитчли жизнь в глуши постепенно очаровывала юного Джона Уилмота, и город так никогда и не смог вытеснить этой первой любви. Город будет позднее означать для него буйное пьяное веселье, театральные интриги, полузадушевную дружбу с поэтами-профессионалами, любовные похождения и откровенный разврат, стычки при дворе и дружбу с королем, которого он глубоко презирал, бордели Ветстоун-парка, заболевание сифилисом и лечение в «ваннах» у мисс Фокар. В деревне же он обретал покой и в некотором роде очищение — и в конце концов испустил дух именно там. По словам Обри, поэт однажды высказался так: «Дьявол вселяется в меня, стоит мне попасть в Brentford, — и не отпускает до тех пор, пока я не вернусь в деревню — в Эддербери или Вудсток». И может быть, именно сады Дитчли вспоминал он, разворачивая на удивление точную метафору:

Когда в стволе древесном хватит соку,  
Чтобы дары ветвей поспели к сроку,  
Искусный и пытливый садовод  
К одной здоровой яблоне привьет  
Побеги сливы, персика и вишни—  
И абрикосы будут здесь не лишни,—  
И чудо-дерево, всё прияв подряд,  
Одно как есть заменит целый сад.

Маленький мальчик идет по высокой траве след в след за садовником, наблюдая за тем, как поблескивает на солнце его рабочий нож и как падают наземь нежные оливково-зеленые ростки, он вслушивается в говор истинного уроженца Оксфордшира. Его отец пьянствует в Париже, фамильярничает в Германии с принцами императорской крови и в конце концов умирает в нищете, окруженный разве что кредиторами, в Брюгге. Десятилетний мальчик в саду среди плодоносящих деревьев в одночасье превращается в графа Рочестера и барона Уилмота Эддербери в Англии и в виконта Уилмота Этлона в Ирландии.

2

В начальной школе в Барфорде, «под руководством известного педагога по имени Джон Мартин», свежее испеченный граф был образцовым учеником. Остались свидетельства о живости его ума и об успехах в учении. Его домашний наставник — и духовный отец леди Рочестер — Жиффар долгие годы спустя сказал издателю старины Томасу Хирну[15], что Джон был «весьма многообещающим отроком, чрезвычайно благонравным и на редкость веселым (веселость он сохранит навсегда), причем не просто послушным, а тут же следующим отеческому совету с превеликой готовностью». И еще одно высказывание Жиффара: «Этот граф, ныне впавший в безумие, подавал когда-то большие надежды, с готовностью откликался на каждое доброе предложение и воспринимал вещи более чем разумно».

От этих слов веет клерикальной напыщенностью. Ясно, что священник считал себя единственным, кто сумел найти подход к мальчику. Он надеялся, что его пошлют с юным лордом и в Оксфорд, «но оказался заменен» — и не без злорадства запомнил этот факт навсегда. Насколько по-другому сложилась бы вся жизнь графа, наверняка думал Жиффар, будь опека над юношей в Уодеме поручена ему, а вовсе не такому отъявленному негодяю как Финеас Бери. Пока ученик начальной школы оставался под присмотром священника в Дитчли, с ним не было никаких «неприятных хлопот», — не то что с тринадцатилетним студентом и четырнадцатилетним бакалавром. Жиффар ухитрился поставить в вину Уилмоту даже саму учебу в Барфорде.

Энтони Вуд описывает юношу как «основательно знакомого с античными авторами, как греческими, так и латинскими, что в его возрасте и с оглядкой на его происхождение являлось исключением из правила, причем едва ли не единственным»; преподобный Роберт Парсонс, сменивший Жиффара на посту священника домашней церкви, хвалит и его древнегреческий, и латынь; доктор Бернет, вспоминая о годах учения лорда Рочестера, написал, что «он довел свою латынь до такого совершенства, что вплоть до кончины сберег красоту и точность римского слога»; кроме того, о том же свидетельствуют его стихи, включая многочисленные переложения из Горация, Лукреция и Овидия, а также великолепный хор из трагедии Сенеки. Однако Жиффар, который «оказался заменен», придерживался прямо противоположного мнения: «Он, можно сказать, совсем не знал древнегреческого, а если и знал латынь, то в лучшем случае с грехом пополам». Недовольство новыми наставниками собственного подопечного быстро переросло в недовольство самим учеником. Об их взаимоотношениях в более поздние годы мы можем судить только со слов самого Жиффара и вынуждены поэтому принять на веру утверждение, будто ему дозволено было «резать лорду правду-матку». Подобно уволенной служанке, которая утешает себя мечтами о том, как горько раскаивается ее госпожа («упади она на колени, я к ней все равно не вернусь!»), Жиффар записывает

поражительный разговор, в ходе которого Рочестер якобы сказал ему: «Мистер Жиффар, я огорчаюсь тому, что вы бываете у меня так редко. Я высоко чту вас и был бы чрезвычайно рад иметь возможность беседовать с вами почаще». В ответ на что Жиффар (опять-таки якобы) возразил: «Милорд, я облечен духовным саном. Ваша светлость ведут себя самым неподобающим образом, будучи пьяницей, дебоширом и атеистом, — и вряд ли с моей стороны будет уместно поддерживать регулярные сношения, покуда Ваша светлость не изменят столь пагубного мировоззрения и поведения».

Итак, расставшись с преподобным Жиффаром, Рочестер 23 января 1660 года поступил в колледж Уодем в Оксфорде. Ему не исполнилось еще тринадцати лет, что, возможно, следует рассматривать как лишнее доказательство амбициозности, присущей его матери. Выбрав определенную стезю для своих детей (а затем — и для внуков), она никогда не мешкала с выполнением уже принятого решения. В 1686 году она написала лорду Личфилду о своем старшем внуке, лорде Норрейсе, которого возжаждала увидеть членом Палаты общин в тринадцатилетнем возрасте: «Причина, по которой нам всем хочется видеть моего внука членом парламента, заключается в том, что это отличная школа для молодого человека».

Деканом Уодема был доктор Бландфорд (позднее ставший епископом Оксфордским), который занял это место, освобожденное доктором Уилкинсом, всего пару месяцев назад, а личным наставником Рочестера стал двадцатипятилетний Финеас Бери — «прекрасно образованный джентльмен, которому доктор Бернанд обязан некоторыми исправлениями в тексте собственного трактата о св. Иосифе». Сэр Чарлз Сидли, ставший позднее поэтом и «сорвиголовой» из свиты Уилмота, поступил в Уодем на пару лет раньше — в то время, когда колледж под руководством Уилкинса, женатого на сестре самого Кромвеля, стал центром научного рационализма. Первые заседания клуба, который позднее станет Королевским обществом, проходили, бывало, и на квартире у декана. В Уодеме не готовили светил науки, но закладывали прочное устройство мира, на небосводе которого они могли взойти. Для членов Королевского общества проведенный эксперимент обязательно предшествовал интуитивным выводам, но никак не наоборот. Интересное учебное заведение, подумает кто-нибудь, вспомнив о том, что именно отсюда вышло столько порочных умов эпохи Реставрации, но, как отметил в своем жизнеописании Сидли профессор Пинто, «тот факт, что многие выпускники Уодема снискали себе дурную славу в годы правления Карла II, можно считать не слишком удачным применением экспериментального взгляда на вещи, которому здесь учили юнцов такие люди, как Уилкинс».

[16]

Такова была официальная сторона жизни в Оксфорде. Но имелась, разумеется, и обратная: мелкие скандалы, подловатые проделки, трагикомические ссоры и стычки. Так обстоит дело сейчас — и точно так же оно обстояло тогда; разве что раньше все выглядело еще более впечатляюще. Оксфорд меняется медленно; десяток лет привносит в жизнь ученого меньше перемен, чем в жизнь воина, придворного или профессионального драматурга; и Оксфорд, каким его позднее описывает Уильям Придо, едва ли сильно отличается от Оксфорда, в котором учился Рочестер. А в письмах Придо мы читаем о профессоре, повесившемся прямо в аудитории после поражения в публичном диспуте; о неожиданном визите однажды вечером настоятеля Церкви Христовой (доктора Фелла) в только что открытую книгопечатню «Кларендон пресс» — о визите, в ходе которого святой отец с негодованием обнаружил, что студенты колледжа Всех Святых печатают здесь Аретино с отменно иллюстрирующими текст непристойными гравюрами: «Собственноручно рассыпав набор и разбив печатные платы, он пригрозил злоумышленникам исключением, которого они безусловно заслуживали бы, учись они в любом другом колледже, кроме Всех Святых, поскольку достоинства, подразумевающиеся у его студентов, с лихвой перевешивают грех срамного

книгопечатания»; о библиотекаре одного из колледжей, столь зверски избитом собственной женою («старой шлюхой») по подозрению в шашнях со служанкой, что «ему пришлось проваляться в постели два месяца и у него начала отсыхать рука (он может лишиться ее вовсе), которой он всего-навсего прикрывался от обрушившегося ему на голову града ударов».

Если люди с годами мало меняются, то тем меньше меняются кабаки. При каждом колледже существует, как правило, собственное заведение, — и Придо рассказывает достоверно звучащую историю о трактире напротив колледжа Баллиол — «зловещем и скандальном заведении для простонародья, в котором подавали эль... Студенты Баллиола, бывая здесь постоянно, накачивались здешним пойлом, что, в сочетании с их природной глупостью, превращало их просто-напросто в свиней. Декан колледжа, прознав об этом, созвал выпивох и произнес суровую обличительную речь о пагубных свойствах дьявольского напитка, именуемого элем». Однако же один из студентов возразил на это: «Люди самого вице-канцлера пьют эль в кабаке "Сплит крау", а мы чем хуже?» Декан тут же отправился за разъяснениями к вице-канцлеру, но тот, «будучи и сам страстным приверженцем эля», не проявил понимания. Вернувшись в колледж, декан «вновь созвал учащих и объявил им, что побывал у вице-канцлера и тот не нашел ничего дурного в употреблении эля, — и хотя сам он, декан, придерживается прямо противоположного мнения, слово вице-канцлера и пример его людей перевешивают, поэтому студентам отныне не возбраняется пить эль, раз уж их превращение в свиней благословлено столь высокой инстанцией». А если верить М. Миссиону, совершившему поездку по всей Англии уже по окончании периода Реставрации, употребление пива было обязательным. «В Англии варят сотни и сотни сортов пива — и порой скорее неплохого. Конечно, искусству пивоваров следует воздать должное. Однако если пивоварение это искусство, то виноделие — сама природа, а значит, оно выше любого искусства, — и я готов отстаивать это мнение, даже оставшись чуть ли не в полном одиночестве».

Вот в такой примерно жизненный уклад угодил тринадцатилетний Рочестер после детства и отрочества в деревне под неусыпным надзором строгой матери. Да и Жиффара с ним не было. Конечно, он был стеснен в средствах, да и столь юный возраст скорее всего предохранял его хотя бы от одной формы беспутства (хотя применительно к столь рано созревшему мальчику и это далеко не столь однозначно), но высокий титул должен был обеспечить ему знакомство с самыми блестящими молодыми людьми в роялистски настроенном Оксфорде, где, понятно, помнили о том, как Уилмот-старший дважды разбил в пух и прах войско Республики. Кое-кто наверняка стремился ему угодить, потому что «мистер Катс» был уже мертв, Протекторат трещал по швам, а в случае возвращения короля сын победоносного Уилмота имел все основания рассчитывать на августейшую благосклонность. Роберт Уайтхолл, врач колледжа Мертон, «вроде бы преподавший графу... азы поэтической грамоты и совершенно его очаровавший», был, скорее всего, из таких искателей будущих милостей. Уайтхолл, в описании Энтони Вуда, предстает совершенно бесцветным человеком. Он «умер 8 июля 1685 года и был на следующий день похоронен в южной части островка, на котором стоит Мертонская церковь; на протяжении нескольких предшествующих лет он не более чем числился преподавателем колледжа, не принося ни малейшей пользы». Единственная книга, автором которой он стал (и которая не дает ему ни малейших оснований считаться чьим бы то ни было поэтическим наставником), называется «Эпиграмматическое истолкование» и вышла в 1677 году в Оксфорде тиражом всего в двенадцать экземпляров.

Вуд пишет:

Уайтхолл привез из Голландии двенадцать гравюр на сюжеты Священного писания, что обошлось ему в четырнадцать фунтов. Каждую гравюру разместил посередине листа бумаги in quarto, надпечатав сверху название, а снизу — шесть собственных стихотворных строк по-английски. После чего размножил сей труд опять-таки в двенадцати экземплярах и, богато переплетя, преподнес в дар королю и еще одиннадцати важным особам. Одной из этих

важных особ был Чарлз, сын и наследник Джона Уилмота, графа Рочестера, — сын человека, которому сей шедевр, по словам автора, и был обязан идеей возникновения.

За четыре дня до того, как Рочестер стал полноправным студентом Уодема, Пепис[17] записал в Лондоне: «Весь мир теряется в догадках о том, как поведет себя Джордж Монк: в городе говорят, что он примет сторону короля, а в парламенте — сторону Республики». Всё, однако, решилось быстро. Власти пуританских генерал-губернаторов, со шпагой в одной руке и с Библией — в другой, пришел конец. 25 мая, когда Карл высадился на берег в Дувре, Пепис оказался в одной лодке с королевской собачкой, страдающей недержанием; тем самым цивилизация (то есть изящные искусства, поэзия, живопись, театр и всеобщее притворство) возвратилась в Англию. Король, поцеловав чрезвычайно пышную Библию, преподнесенную ему мэром Дувра, заявил, что любит эту книгу сильнее всего на свете. Это было вежливым признанием главенствующего вероисповедания — и куда более изящным, чем подписание соглашения с шотландцами. Разумеется, все сейчас, как и одиннадцать лет назад, понимали, что красивый жест — это всего лишь красивый жест, но вместо кислых мин, угрюмого перешептывания и бессильно дрожащих рук короля встретили «радость толп и ликование дворянства». Восторженными кличами оказался оглашен весь путь до Кентербери.

Джордж Монк, герцог Албемарль, по прозвищу «делатель королей»[18]

В Оксфорде же юному Рочестеру стало не до учебы. «Дух времени, — написал позднее Бернет, — взыграл в нем с такой силой, что он забросил науки — и вернуть его на этот путь не представлялось больше никакой возможности»; хотя и трудно поверить, что «погоня за наслаждениями», в которую он пустился, судя по стихам, написанным под псевдонимом Сент-Эвремон[19], могла означать для тринадцатилетнего подростка что-то большее, чем шумные дружеские застолья и полумальчишеские проделки. Приписываемые Рочестеру стихи на возвращение короля чересчур похожи на Роберта Уайтхолла, и Энтони Вуд и впрямь свидетельствует, что это стихотворение, как и еще одно, на смерть принца Оранского, опубликованное год спустя, на самом деле написаны «наставником». Можно себе представить, какое удовольствие приносило автору «Эпиграмматических истолкований» выводить на бумаге строки вроде «Шаг Смерти множит ряд мужских могил» (тем более что тот же «шаг» оказывается в другой строфе «размеренным»). «Ученик» писал по-другому. Его стихи, в которых отсутствует присущее Уайтхоллу верноподданничество, не грешат и эмоциональной уклончивостью. В них неизменно дышит чистое и прямое чувство — будь это презрение, любовь, интеллектуальное сомнение, похоть или злоба.

[20]

В Оксфорде он проучился недолго. Поступил 23 января 1660 года — и уже 9 сентября 1661 года был произведен в магистры искусств (что, как правило, требует семилетнего обучения), причем ректор университета «страстно поцеловал его в левую щеку, а затем уселся на председательское место и не покидал его до окончания церемонии». Следует отметить, что ректором был лорд Кларендон — тот самый человек, который еще восемь лет назад в письме к Уилмоту-старшему назвал Джона «прекрасным мальчиком», а еще через два года будет усиленно и успешно хлопотать о том, чтобы молодому человеку досталась в жены обладательница самого большого на всем западе страны приданого. При этом Кларендон терпеть не мог Уилмота-старшего и рассорился с леди Уилмот из-за того, что она заступилась за полковника Хатчинсона. Так что Уилмот-младший должен был завоевать его симпатию сам. Даже в столь юном возрасте Джона отличали острый ум, привлекательная наружность и широкие познания. А еще через шесть лет, уже будучи пэром, Рочестер не



только подписал протест ряда членов Палаты лордов против отмены импичмента бывшему ректору с поста лорда-канцлера, уже проведенного через Палату общин, но и обрушился на защитников Кларендона с пламенными стихами:

Тщеславье, похоть, злость — вот чем живет

И губит королевство жалкий сброд

Дворянства беспоместного; пора б

Передушить крикливых этих жаб...

Так что, выходит, престарелый государственный муж сердечно поцеловал четырнадцатилетнего магистра искусств совершенно напрасно.

21 ноября графу Рочестеру выдали подорожную — и он в сопровождении сэра Эндрю Бэлфура, известного ботаника и во всех смыслах надежного вожатого, отправился, как это было принято, в длительную поездку по Франции и Италии. Скорее всего, именно в этом путешествии он впервые встретился с тоже отправившимся на континент Гарри Сэвилом, который станет самым верным из его друзей. Сэвил преподнес Рочестеру в дар четыре серебряных кубка вместимостью в пинту каждый (и, если верить свидетельствам Бернета и «Сент-Эвремона», даже в четырнадцать лет юный граф использовал эти кубки по прямому назначению), которые уцелели до сих пор. В начальной школе Рочестера приучили читать Горация и любить поэзию, в Оксфорде — пить до дна в стремлении перещеголять родного отца.

II

Богатая наследница

«Кареты в парке Сент-Джеймс»[21]

Обладательницу богатого приданого выставили на торги в Сомерсете двое ее опекунов — отчим, сэр Джон Уорр, и дед, лорд Хаули. Имея в виду собственного сына Хинчингбрука, предложением заинтересовался граф Сэндвич. Джон Уорр ответил ему 17 декабря 1664 года:

Я имел честь получить через мистера Мура письмо Вашей светлости, и еще одно письмо было адресовано лорду Хаули; что же касается предложения, сделанного в обоих письмах, мы не вправе ответить на него положительно, не нарушив при этом слова, данного герцогу Ормонду, обратившемуся к нам с аналогичным предложением от имени своего сына Джона в ходе пребывания в нашем графстве нынешним летом; это слово, пусть и не окончательное, все еще в силе, и дело должно в самое ближайшее время разрешиться тем или иным образом; пока этого не произошло, мы не можем дать Вашей светлости определенного ответа; однако, поверьте мне, Ваша светлость, я отношусь и к Вам лично, и ко всей Вашей семье с превеликим почтением и готов выполнить любые Ваши поручения и пожелания в той мере, в какой я волен их выполнить.

Преданный слуга Вашей светлости Дж. О. Уорр

Сохранилось и ответное письмо лорда Хаули — человека глубоко преклонного возраста и, насколько можно судить, скрыто, но безудержно алчного:

Мистер Мур передал мне письмо Вашей светлости; мы с сэром Джоном Уорром ознакомились со сделанным в нем предложением, и причины, по которым мы не можем откликнуться на него, изложены в прилагаемом письме Уорра, поэтому я не стану докучать Вашей светлости простым повторением. Если погода позволит ездить верхом, я прибуду в Оксфорд на Рождество и получу возможность лично засвидетельствовать Вашей светлости свое почтение, пока же искренне заверяю Вас в том, что у Вашей светлости нет более верного и преданного слуги, чем нижеподписавшийся.

В обоих письмах ни словом не упоминается сама девица, Элизабет Малле из Инмора, Сомерсет, которую Энтони Гамильтон однажды назвал «печальной наследницей». Она была красива по канонам своего времени (а ее руки называли бы красивыми в любую эпоху) и богата (с ежегодным доходом более двух тысяч фунтов), и от претендентов на ее руку не было отбою (одним из предполагаемых женихов был виконт Хинчингбрук, сын лорда Сэндвича, а другим — лорд Джон Батлер, сын герцога Ормонда); кроме того, она была умна, свободолюбива и, как выяснилось в дальнейшем, обладала изрядным терпением и, не в последнюю очередь, милосердием. Но ни Хинчингбруку, ни Батлеру она не досталась. В самом конце 1664 года вернулся из путешествия по европейскому континенту еще один соискатель — и Генри Беннет, будущий граф Арлингтон, тут же написал лорду Сэндвичу:

Лорд Джон Батлер попросил ее руки первым, но его отец снял предложение в пользу сына лорда Десмонда, активно поддержанного Сомерсет-хаусом. Однако, вопреки всем этим усилиям, леди Каслмейн, заручившись поддержкой лорда-канцлера и самого короля, выступила перед опекунами невесты заступницей за лорда Рочестера. Обладающего в результате этого столь явным преимуществом, что, к сожалению, любой другой претендент утрачивает малейшие шансы на успех. Правда, как я слышал, леди объявила о своей решимости сделать выбор самостоятельно. И если она сдержит слово, значит, игра все еще продолжается, причем на равных.

Слово свое она в конце концов сдержала, однако об игре на равных, вопреки мнению Беннета, речи быть не могло. «Сент-Эвремон»<sup>[22]</sup> так описывает Рочестера, появившегося при дворе семнадцатилетним:

Он был очень красив, высокий и стройный, с весьма располагающим лицом; особый же шарм — и совершенно неотразимый — придавали ему острый ум и безукоризненное умение себя подать. Ум его был одновременно силен, искрист и утончен, манеры безупречны; держался он при этом с естественной скромностью, которая тоже чрезвычайно шла ему. Он превосходно знал и античных, и современных авторов, в том числе — французских и итальянских, не говоря уж о творчестве соотечественников: из написанного по-английски он помнил все мало-мальски стоящее (с оглядкой, разумеется, на его тонкий вкус). Его речи очаровывали всех и едва ли не каждого заставляли в него влюбиться.

Литературные вкусы Рочестера известны нам из других источников. Во Франции его любимым писателем был Буало, а в Англии — Каули. Он частенько декламировал стихи Уоллера (как и списанный с него Доримант в пьесе Этериджа). В одном из писем он процитировал Шекспира, а Джон Деннис упоминает о его особой любви к «Виндзорским проказницам». Конечно, «Сент-Эвремон» пишет заведомо комплиментарный портрет, но и доктор Бернет, будущий епископ Солсбери, не скупится на разве что чуть менее угодливые похвалы.

Рочестер временно пожертвовал вином ради литературы, путешествуя по Европе с Эндрю Бэлфуром, мужем ученым и высоконравственным. Рочестера приняли при дворе — не только сам король, которому нравился любой умный собеседник, но и королевская фаворитка леди

Каслмейн (состоявшая с Рочестером в дальнем родстве), для которой куда большее значение имели приятные черты лица и учтивые манеры, а также лорд-канцлер Кларендон, которого (единственного во всей троице) интересовало душевное благородство. Дата первого появления Рочестера при дворе известна по письму, написанному королем его возлюбленной сестре, герцогине Орлеанской, и датированному 26 декабря 1664 года: «Только вчера лорд Рочестер передал мне твое письмо».

В те дни, когда он вернулся с континента, всех интересовали Голландия и комета. «Только и говорят, что о комете, появляющейся по ночам; а прошлой ночью на нее решили посмотреть король с королевой — и вроде бы посмотрели». В сочельник, побывав с утра на башне Тауэра, где звонарь сказал ему, что комету опять видели, «несмотря на яркую луну и сильный мороз», причем бесхвостую, Пепис, которого мы цитируем, и сам увидел ее в вечернее время — «и впрямь бесхвостую, а хвост то ли оторвался, то ли его вовсе не было, не знаю; звезда как звезда — только большая и мрачная, и она то восходит, то нисходит по небу, двигаясь по дуге, и то и дело начинает светить на новом месте». Что же касается Голландии, то до Лондона докатились слухи о «нашем поражении у побережья Гвинеи, где наши военные моряки проявили чудовищную трусость и вероломство». Война еще не была объявлена, но лорд Сэндвич уже вышел в море и, невзирая на зимние штормы, развернул флот в Ла-Манше; а поражение у побережья Гвинеи было уравновешено захватом голландской флотилии в порту Смирны. Шли спешные приготовления к большой войне, которая началась 15 марта 1665 года.

Двор воспринял войну с восторгом. Карл нежданно-негаданно ощутил единство со страной и народом и был вправе рассчитывать на полную поддержку со стороны парламента. Причем ощутимых потерь при дворе поначалу не наблюдалось. Лорд Сэндвич был куда в большей мере флотоводцем, нежели придворным, и по нему тут особенно не скучали, а лорд Бакхерст написал на прощание чудесные стихи «милым дамам на берегу». Да и разлука с «радостями Гайд-парка и дивными прогулками по Мэлл» оказалась недолгой: Бакхерст вернулся в Лондон уже к Рождеству, как раз когда «милые дамы» созрели для того, чтобы вознаградить своих возлюбленных за вынужденное воздержание.

Подумайте о том, каким

Был горький наш удел,

И стало людям молодым

Не до любовных дел;

Но нет, не так, совсем не так —

Мешал свиданьям лютый враг.

А вы?.. Не ждали нас, увы,

И не щадили чувств;

Все тех же игр искали вы,

Изысканных искусств;

И нам, исчезнувшим вдали,

Замену с легкостью нашли.

Театр проснулся от долгой спячки времен Протектората. Два театра получили лицензию одновременно — Королевский и Герцогский. И в каждом подчас играли по четыре спектакля в неделю. Причем пьесы льстили двору — и только ему. Какой-нибудь сельский помещик, заглянув на спектакль, обнаруживал, что дежурный комедиограф избрал его самого и его семейство предметом насмешек. Как правило, его изображали старым импотентом, заедающим молодую женушку, всячески пряча ее от мира с его соблазнами, — но мир в лице красавца и щеголя, для смеха переодевшегося священником или стряпчим, неизменно находил тайный ход в неприступную с виду крепость. Только людей света изображали на театре галантными кавалерами. Этим выдумкам, замешанным на молодых женах, изголодавшихся по любви, на старых мужьях, обреченных стать роконосцами, на красавцах-кавалерах, переодевшихся кем ни попадя, суждено было в жизни лорда Рочестера стать реальностью. Природе вновь пришлось заняться подражанием Искусству — искусству, которое хорошо характеризуют сами названия пьес: «Горожаночка, или Посрамленная глупость», «Стыдливый стряпчий, или Удачливый инсургент», «Вечерняя любовь, или Лжеастролог», «Сам себе роконосец», «Старый помещик, или Ночные улады», «Дикарь-кавалер», «Городская невеста», «Счастливого роконосец».

Присутствие в задних рядах партера проституток под маской, ищущих клиента, отталкивало многих добропорядочных горожан, но и тайно привлекало, скажем, того же Пеписа, который на представлении «Геракла» в 1667 году увидел «в соседнем кресле женщину, как две капли воды похожую на леди Каслмейн; при том, что была она, как мне кажется, особой легкого поведения, потому что оказалась накоротке чуть ли не со всеми симпатичными мужчинами в зале, называя их по имени — кого Джеком, кого Томом, — и ближе к концу спектакля пересела от меня на другое место». В партере, между проститутками и придворными, расхаживали торговки апельсинами, из числа которых знаменитостями стали Нелли Гвин и Апельсиновая Молли (Мэри Дэвис). «В театре было полно членов парламента, с которыми я таким образом провел и день, и вечер; и один из них, господин с превосходными манерами, сидевший прямо перед нами, подавился апельсином и едва не задохнулся, но Апельсиновая Молли, подоспев, сунула ему палец в горло и таким способом вернула к жизни».

В ложе восседал король с очередной фавориткой. Вновь процитируем Пеписа:

Король и герцог Йоркский заметили меня и улыбнулись тому, что рядом со мной сидит такая красивая женщина, но меня поразило то, что я обнаружил в королевской ложе Апельсиновую Молли: она смотрела на него, а он на нее, и этот обмен взглядами заметила леди Каслмейн, а едва заметив, вся вспыхнула, и это меня опечалило.

Ко времени появления Рочестера при дворе Молли Дэвис торговала апельсинами и играла на сцене незначительные роли. Она еще не очаровала короля исполнением песни «Лежу я на сырой земле» из пьесы «Соперницы» — песни, которая, по слову Джона Дауна, «вознесла красивую певичку с сырой земли на королевское ложе».

Мэри (Молли) Дэвис[23]

Куда более дикими забавами двора были, например, разбойное нападение с убийством на некоего дубильщика Хоппи, осуществленное в 1662 году под Уолтэм-кросс лордом Бакхерстом, его братом Эдуардом Саквиллом и сэром Генри Билэйсисом со товарищи, или «гулянка» на следующий год в оксфордском кабаке «Кэт», в ходе которой сэр Чарлз Сидли и лорд Бакхерст выскочили на балкон совершенно голыми и обратились с шутовской проповедью к столпившимся внизу зевакам. Сам король доходил в целом и полностью охвативших его двор бесчинствах лишь до определенной черты, но черта эта практически ускользала от внимания его современников, что дало возможность все тому же Пепису записать в 1663 году слова сэра Томаса Крю:

Короля ничто не интересует, кроме наслаждений; сама мысль о том, чтобы заняться государственными делами, ему глубоко противна; и вообще им, как марионеткой, вертит леди Каслмейн, которая, как он похваляется, освоила все трюки и фокусы любовной игры в духе Аретино, чему он и сам соответствует, обладая изрядным х... И если кто-нибудь из остающихся трезвыми советников подсказывает ему что-нибудь путное и подвигает в направлении достославных, да и просто добрых дел, — остальные (советчики, так сказать, по части удовольствий) подстерегают его в покоях леди Каслмейн в состоянии полной расслабленности и разубеждают в благих намерениях, нашептывая, будто те внушены либо ничего не понимающими старыми хрычами, либо тайными королевскими врагами.

Но и сам Пепис порой поднимался над такими предубеждениями, отмечая, например, насколько эффективнее заседает Военно-морской совет в присутствии короля, нежели без него. Не обладая совокупностью имеющихся сегодня данных, современники короля не замечали, с каким искусством он на протяжении более чем двадцати лет натравливал друг на дружку Францию, парламент и Голландию, наполнял казну деньгами, боролся — пусть и не столь успешно — за веротерпимость и, в конце концов, уступил власть благочестивому католику.

Когда Рочестер вернулся с континента, в Англии стояла суровая и сухая зима, люди ломали руки и ноги на обледенелых улицах; на смену ей пришла столь же засушливая весна, а затем настало сухое, с частыми и бурными грозами, но без капли с небес, лето. Такой засухи в Англии еще не было. Поля стояли голыми, как проезжая дорога, а с лугов, где прежде набирали по сорок возов сена, теперь едва удавалось скосить четыре. И конечно, все вспоминали о зимней комете.

Именно этой, безоблачной на горе людям, весной Рочестер впервые привлек к себе внимание широкой публики. Причем его действия в далее описываемых обстоятельствах стали первой тайной в его запутанной и противоречивой жизни. В качестве жениха Элизабет Малле он был всем хорош, кроме собственной удручающей бедности; леди Каслмейн соответствующим образом «настроила» короля, и Генри Сэвил написал брату, что Карл благословил Рочестера сделать предложение. Конечно, Элизабет утверждала, что сделает выбор сама, но никто не ждал от нее сопротивления августейшей воле. Правда, ее отказ сыграл бы на руку соперникам Рочестера. Может быть, возраст жениха, дыхание весны и характер самой девицы являются ключом к дальнейшему. Ему было всего восемнадцать, стоял поздний май, Элизабет, уже помолвленная с лордом Хинчингбруком, не раз меняла решение.

Вечером 26 мая она в обществе деда ужинала в Уайтхолле с фрейлиной Фрэнсис Стюарт, озабоченной единственно тем, чтобы устоять перед натиском короля (цель по тем временам едва ли не уникальная). Отуживав, Элизабет и лорд Хаули покинули Уайтхолл. У Чаринг-Кросс их экипаж был остановлен группой вооруженных людей под предводительством Рочестера, и даму заставили пересест в другую карету, запряженную шестеркой лошадей, после чего помчались прочь из Лондона. В карете, куда пересадили Элизабет, уже находились какие-то две женщины. Неизвестно, что именно предпринял лорд Хаули (да и предпринял ли что-нибудь), увидев, как уводят курочку, от которой все ждали золотых яиц.

Естественно, поднялся страшный шум; за лордом Рочестером бросились в погоню — и схватили его под Эксбриджем, однако уже без Элизабет; а король, который, по свидетельству Пеписа, «беседовал с дамой часто, но безуспешно» в интересах Рочестера, на сей раз «страшно рассердился». 27 мая сэр Джон Робинсон, комендант Тауэра, получил приказ арестовать похитителя.

Фрэнсис Стюарт, предмет бесплодных воцелений короля и герцога Йоркского, в образе Минервы[24]

В тот же день были изданы предписание об организации поиска и поимки остальных злоумышленников и отдельный указ, обязывающий Джона Уорра найти Элизабет и вернуть опекунам. Как это произошло на деле, тоже неизвестно. Скорее всего, после того как графа поймали и бросили в Тауэр, его сообщники решили от греха подальше освободить похищенную. Должно быть, несколько дней похитители провели в тревожном ожидании, потому что в воскресенье, 28 мая, когда Пепис нанес визит леди Сэндвич, Элизабет еще не нашли.

Миледи тайно призналась мне в том, что и сама замешана в этой истории, поскольку ожидаемый теперь разрыв между похищенной и лордом Рочестером, по всеобщему мнению, вновь расчищает дорогу лорду Хинчингбруку, как и было задумано с самого начала. И невеста того стоит; после смерти матери (живущей крайне скромно) ее доход составит две с половиной тысячи фунтов в год. Дай Б-г, чтобы так оно все и вышло. Но бедная хозяйка дома, изнемогающая от болезни и стремящаяся как можно скорее вернуться к себе в деревню, обречена застрять в городе еще на день-другой, если не на все три, пока события не разрешатся тем или иным образом.

6 июня леди Сэндвич еще была преисполнена оптимизма.

Она утверждает, что лорд Рочестер теперь окончательно исключен из числа претендентов на руку мисс Малле, и ожидает в течение одного-двух дней письменного извещения о том, что король склоняется на сторону лорда Хинчингбрука, чем будет положен быстрый конец всей этой подзатынувшейся истории.

Упоминание о болезни леди Сэндвич в дневниковой записи Пеписа за 28 мая свидетельствует (чего он сам пока не знает) о чуме. В первую неделю июня в Лондоне умерли сто двенадцать человек; эпидемия быстро распространялась и достигла апогея в третью неделю сентября, когда число умерших составило уже шесть тысяч пятьсот сорок четыре человека. 7 июня заговорил об эпидемии и сам Пепис:

Сегодня, к вящему неудовольствию, я видел в Друри-лейн два или три дома, помеченных красным крестом на воротах и надписью: «Избави нас, Господи!» — и это было унылое зрелище, тем паче что нечто подобное попало мне на глаза впервые в жизни. Внезапно я и сам почувствовал себя плохо, к тому же мне показалось, будто от меня дурно пахнет, поэтому я купил нюхательного и жевательного табаку и принялся нюхать и жевать, обманывая собственные органы восприятия.

Одним из главных и худших страхов, вызванных чумой, был именно запах: запах человека, запах животных, запах мусора. Стояла засуха, наступала летняя жара — и этот смрад разрастался. В тот же день Пепис отправился вдоль берега реки домой, а затем, «устав от долгой ходьбы в жару и разочарованный невозвращением жены, до полуночи оставался в саду, где тоже было жарко, но дышалось все же полегче». Всю ночь в небе сверкали молнии, но лишь один раз прошел короткий и мощный ливень.

Гравюра[25]

На следующий день чума временно отступила на задний план, поскольку пришло радостное известие о великой победе, одержанной над голландцами 3 июня, но уже 10 июня Лондон принес эпидемии первые человеческие жертвы. Во вторую неделю июня умерли сто шестьдесят восемь человек и началась паника. «Сегодня днем я испытал сильный испуг. Карета, нанятая мною на обратном пути из Казначейства, ехала все тише и тише — и наконец остановилась вовсе, причем и это стоило моему извозчику едва ли не последних сил. Он объяснил мне, что внезапно почувствовал себя плохо, а в глазах у него все потемнело, так что дальше он ехать не может. Я пересел в другую карету; мне было жаль беднягу и страшно за себя — а вдруг у него чума?» В записи от 21 июня читаем: «Чуть ли не весь город бежит за город — сплошной поток карет, колясок и экипажей, полных людьми, удирающими из Лондона».

Три недели чумного июня Рочестер просидел в Таузере, что в обычных обстоятельствах трудно было бы признать серьезным лишением; однако пребывание в тюрьме с глазу на глаз с тюремщиком не давало ему возможности отвлечься от мыслей о чуме и о позорном срыве собственной авантюры, хотя тюремщик развлекал его, как мог, в том числе и пением, оказавшись наделен «сильным голосом и прекрасным слухом», но обделен какой бы то ни было «школой». Рочестеру еще предстояло привыкнуть к бесчестью — и эта первая проба оказалась едва ли не самой горькой на вкус. Пепис описывает лейтенанта Робинсона как «болтливую напыщенного хлыща... ничего не знающего и не умеющего... не способного дельно сторговаться даже с продавцом на рынке». Полковник Хатчинсон, сведший знакомство с Робинсоном в той же уединенной башне, что и Рочестер, находит еще более суровые слова для этого человека, пользовавшегося малейшей возможностью урвать у заключенных и украсть из казны. В конце концов чума пришла и в Тауэр, нанеся потери тюремному гарнизону, но случилось это уже после освобождения Рочестера.

Находясь в темнице, он обратился к королю с письменным прошением о снятии августейшей опалы. Незрелость ума, незнание законов и пылкая страсть — вот что, писал он, стало причиной его необузданной выходки. И он предпочел бы умереть десятью тысячами смертей сразу, лишь бы не навлечь на себя гнева Его Величества. Разумеется, именно столь медоточиво и следовало обращаться к сюзерену, но восемнадцатилетний Рочестер скорее всего и впрямь искренне восхищался остроумным и веселым монархом. Позднее он зарекомендует себя злейшим критиком Карла II (причем в тот период, когда и сам станет жертвой изобличаемых им в короле пороков), но сама чрезмерная грубость его сатир, не исключено, объясняется разочарованием, пришедшим на смену едва ли не любовному восторгу. По меньшей мере, в данном случае следует говорить о крушении великих иллюзий. Так или иначе, 19 июня король смилостивился — и лорд Арлингтон велел Робинсону освободить Рочестера до суда, назначенного на первый день ноябрьской судебной сессии, то есть на Михайлов день. Но задолго до этой осенней даты Рочестер, пройдя через немало опасностей, отличится как человек, деятельно смелый и чрезвычайно полезный, и его майская эскапада окажется полностью забыта.

### III

Морской пейзаж:

Ост-индский флот Нидерландов шел домой, в Голландию, и задачей лорда Сэндвича было предотвратить его возвращение в порт. Битва при Лоустофте временно вывела из боевого строя «домашний» флот голландцев и позволила адмиралу подвергнуть плотной блокаде все побережье. Ла-Манш был наглухо заперт, и Ост-индскому флоту не оставалось ничего другого, кроме как попытаться обогнуть с севера Шотландию. Поэтому голландцев следовало ждать у норвежского и датского побережья, где они могли бы зайти в гавани остающихся нейтральными государств. Там их ждать следовало — и такой поворот событий представлялся весьма желательным. Сэр Гилберт Тэлбот, английский посол в Копенгагене, пришел к неофициальному соглашению с Фредериком III, королем Норвегии и Дании. В обмен на обещание поучаствовать в дележе трофеев король должен был приказать губернатору Бергена в случае, если голландцы бросят якорь в этом порту, позволить англичанам запереть их там и принудить к капитуляции, причем сами скандинавы остались бы в стороне. Карл это соглашение одобрил. Прошел целый месяц — и таким образом у Фредерика появилось время на более тщательные размышления, однако он вроде бы от этой затеи не отказался. «Король, — написал Тэлбот, — приказал губернатору открыть стрельбу холостыми зарядами... Король... прислал губернатору приказ, как следует пошуметь и изобразить крайнее возмущение, однако не открывать огня по англичанам или, самое большее, стрелять мимо цели».

Такова была ситуация на тот момент, когда Рочестер выказал желание послужить во флоте. 6 июля Карл написал Сэндвичу следующее послание:

Мне нечего сказать вам по вопросам флотоводческого искусства; мой брат уже прислал все необходимые указания; и теперь, когда командование флотом доверено вам, у меня нет причин сомневаться в его дальнейшей победоносности; главной задачей этого письма является рекомендация его предъявителя, лорда Рочестера, изъявившего желание послужить под вашим командованием, так что мне нечего больше сказать; разве что пожелать вам новых викторий и заверить вас в моей неизменной дружбе и милости. К.

В это время Сэндвич с большей частью флота уже дошел до Фламборо-Хед. В дневнике за 15 июля он написал: «На корабль прибыл с намерением продолжить путь лорд Рочестер, и я предоставил ему каюту», а двумя днями позже сообщил королю в ответном письме: «Выполняя распоряжение Вашего Величества, я принял графа Рочестера наилучшим образом и намерен и впредь служить ему всем, чем смогу».

Ситуация была довольно комической: Рочестер начал службу под началом у отца своего главного соперника в борьбе за руку Элизабет Малле. Возможно, именно ожидавшееся возвращение лорда Хинчингбрука из поездки по континенту подстегнуло Рочестера похитить Элизабет, применив силу. А теперь, находясь на корабле Сэндвича, он мог только кусать локти, представляя себе, как возвращается Хинчингбрук (что и произошло фактически 4 августа) и леди Сэндвич тут же принимается интриговать в интересах сына.

Далее в письме Сэндвича содержится описание его замыслов и уточненный курс дальнейшего плавания. К флоту присоединился сэр Томас Аллен, и, по рекомендации Военного совета, корабли пошли в норвежский порт Назе. В тот же день Сэндвич написал Джону Вердену в Копенгаген с просьбой предупредить короля Норвегии о своих планах. Мышеловку уже устроили — оставалось дожидаться мышки. 30 июля мышеловка захлопнулась вроде бы окончательно. Сэндвич описывает это так:

Нас нагнало судно, вышедшее в четверг из Бергена, с известием о десяти ост-индских кораблях, движущихся в ту сторону, что нас порадовало и укрепило и без того



существовавшую решимость; сегодня днем я выслал им навстречу флотилию под началом сэра Томаса Теддемана (только с моего корабля вместе с ним отправились граф Рочестер, сэр Томас Клиффорд, мой сын Сидни, мистер Стюард и капитан Ар-бор). Всю ночь и весь следующий день дул сильный зюйд и зюйд-ост...

Молодые аристократы буквально рвались поучаствовать в рискованном предприятии, сулящем, казалось бы, не смерть, тяжкие раны или бесславную неудачу, а доступ в трюмы, битком набитые сокровищами Ост-Индии, — и они уже мысленно делили добычу. Рочестер был одним из самых бедных пэров во всей Англии, а посвататься он намеревался к одной из самых богатых невест. Берген мог означать для него полную перемену участи: недавний провал оборачивался успехом. Корабли, на которых они сквозь шторм шли в Берген, самым своим внешним видом внушали мысль о неизбежной победе — с тяжелыми резными, празднично раскрашенными фигурами на носу, с шелковыми флагами, чугунными лампами вдоль позолоченных портиков, с кроваво-красными поясными ширмами, которые перед началом битвы разворачивают по бортам, чтобы прикрыть людей. Но по мере приближения к Бергену молодым людям поневоле пришла на ум мысль о вероятной смерти в бою. Куда более вероятной, чем богатые трофеи. На борту «Возмездия» вместе с Рочестером находились Эдуард Монтегю и «еще один высокородный господин» по имени Уиндхем. Оба предчувствовали близкую смерть, особенно Монтегю. С Уиндхемом Рочестер заключил «формальный договор (причем не обошлось и без взаимного обета) о том, что, в случае гибели одного из них, он явится другому впоследствии, чтобы рассказать о загробной жизни, буде таковая и впрямь имеется. А вот мистер Монтегю от этого уклонился».

И произошел конфуз, завершившийся разгромом. Тэлбот не сумел справиться с поставленной перед ним задачей, губернатор Бергена не решился вероломно предать голландцев. Арлингтон заявил впоследствии, что губернатора «раздирали на куски собственная алчность и желание спасти честь сюзерена»; Эдуарда Монтегю послали на берег, по слухам, с неслыханно щедрыми посулами. Всю ночь с 1 на 2 августа шел бесплодный обмен посланиями, а голландцы готовились к битве. Конвой военных кораблей развернулся таким образом, чтобы прикрыть торговые суда, — и только тут выяснилось, что голландцы, с ведома и согласия губернатора, успели перевести тяжелую артиллерию вместе с орудийными расчетами в прибрежные форты. 2 августа, на заре, Теддеман открыл огонь. У неповоротливого английского флота (один военный корабль шел на трех узлах, восемь — на четырех, а четыре — на пяти; имелись еще девять торговых судов) не было пространства для маневра; проход вдоль береговой линии оказался таким узким, что нок-реи задевали за скалы; ветер с берега не давал возможности применять зажигательные бомбы; пороховой дым, отползая назад, летел англичанам в лица; и, наконец, к предательству самой природы добавилась и человеческая измена: английский флот начали обстреливать из фортов. В таких обстоятельствах Теддеману еще повезло отойти в море, не лишившись ни одного корабля. Однако потери англичан составили четыреста человек, в том числе четверо убитых и семеро тяжелораненых на «Возмездии». Среди этих четырех павших были Монтегю и Уиндхем.

Мистер Монтегю, остро предчувствуя собственную гибель, тем не менее на протяжении всей битвы стремился туда, где было всего опаснее. Тогда как второй джентльмен [Уиндхем] вслух восхищался его смелостью. И вот, ближе к концу сражения, Уиндхема внезапно охватила такая дрожь, что он едва не рухнул наземь; мистер Монтегю бросился поддержать его — и как раз в миг этого произвольного объятия в них угодило пушечное ядро, убившее [Уиндхема] на месте и вспоровшее живот мистеру Монтегю, скончавшемуся примерно через час после этого.

Доктор Бернет, рассказ которого мы здесь приводим, продолжает:

Граф Рочестер сказал мне, что это предчувствие собственной смерти, владевшее перед битвой обоими, произвело на него сильное впечатление, особенно, так сказать, в удвоении —

ведь они были отдельными существами, но предвидение общей смерти будто соединило их души, — и что он видит в этом нечто сверхъестественное. И тот факт, что второй джентльмен, вопреки обету, так и не явился к нему из загробного мира поведать о его тайнах, стал для лорда пожизненным разочарованием.

Сам Рочестер также на протяжении всего боя держался отважно. Некий «человек чести» сообщил Бернету, что «слышал, как лорд Клиффорд, находившийся на том же корабле, что и Рочестер, говоря о его поведении в бою, не жалел самых высоких слов».

Бесславное поражение английской флотилии оказалось первым эпизодом в жизни Рочестера, о котором до нас дошел его собственный письменный отчет, и опять-таки первым, нашедшим отображение в его поэзии, причем сами эти стихи подтверждают рассказ Бернета о сверхъестественном предчувствии и «пожизненном разочаровании». Религиозное воспитание, полученное Рочестером, вошло в конфликт с его стихийным атеизмом, этот духовный конфликт стал всеобъемлющим и сформировал в юноше поэта. Все его прежние литературные опыты были, скорее всего, пробой пера или в лучшем случае шутивными экспромтами, а со времени сражения при Бергене он вступил на поэтическое поприще. 3 августа он написал матери «с норвежского побережья среди скал на борту "Возмездия"» прочувствованное письмо, осторожно подбирая слова, чтобы не задеть ее религиозных чувств: Мадам!

Надеюсь, Вашей светлости трудно будет поверить в то, что небрежение, а вовсе не катастрофическая нехватка времени помешали мне написать Вам раньше. Не знаю никого, кто имел бы большую причину выразить свой долг Вашей светлости, чем я... Чего только не произошло с тех пор, как я в последний раз писал Вашей светлости. Мы получали множество сообщений о де Рюйтере и Ост-индском флоте, но ни одно из них не находило подтверждения до тех пор, пока, в самом начале месяца, нам не донесли о примерно тридцати кораблях, идущих под парусами в норвежский порт Берген, принадлежащий датской короне. Сам по себе этот порт слишком мал, чтобы в его гавань смогли зайти крупные корабли, поэтому лорд Сэндвич послал двадцать небольших фрегатов под командованием одного из вице-адмиралов, сэра Томаса Теддемана, чтобы запереть вражеский флот и захватить его. Мое желание отличиться на службе королю не имело права разминуться с такой возможностью, поэтому я вызвался добровольцем; простившись с лордом Сэндвичем, мы вышли в море тринадцатого числа в шесть часов вечера и уже на следующий день были в Крачфорте (в 15 лигах севернее Лондона), не обойдясь в пути без опасности кораблекрушения, потому что (даже если отвлечься от рифов, которые здесь, по словам мореходов, коварнее, чем где бы то ни было) нам пришлось встать на якорь в гавани, где с трудом разместились бы и семь кораблей, тогда как у нас их было все двадцать, так что мы едва не налетели друг на друга и не разбились вдребезги, что означало бы, помимо всего прочего, неизбежные поиски спасения на тех же рифах. Однако, Божьей милостью, все обошлось — единственно Ею, ибо люди помочь друг другу были бы бессильны; мы заночевали там и на следующий день, ровно в двенадцать, взяли курс на Берген, полные надежд и упований, загодя деля между собой богатую добычу из каравана купеческих судов (кто вез из Индии алмазы, кто пряности, кто шелка; меня же в первую очередь интересовали сорочки и золото, ибо и в том, и в другом я испытываю великую нужду), иначе говоря, шкуру неубитого медведя. Далее, мы получили письмо от губернатора [Бергена], чрезвычайно учтивое и проникнутое готовностью услужить; мы ответили ему, послав гонцом мистера Монтегю; тем же вечером обмен посланиями состоялся еще раз семь, а то и все десять, только всё это ничего не значило, кроме пустых проволок. Окончательно стемнело, и нам не оставалось ничего другого, кроме как дожидаться рассвета. Меж тем голландцы за ночь переправили с кораблей более двухсот орудий, установив их в датских фортах и на крепостных бастионах, и таким образом взяли нас в полукольцо между городом и собственным флотом. Бесплодный обмен посланиями продолжился — и на протяжении всего этого времени голландцы трудились над укреплением собственных позиций; осознав это, мы

прервали явно несвоевременную праздность и в пять часов, подняв боевые штандарты, открыли огонь по голландским кораблям, которые немедленно ответили тем же, причем их пальба была поддержана из фортов и с крепостных бастионов самого города. Тогда мы принялись обстреливать и их — и довольно скоро выбили из одного из самых мощных фортов три, а может и четыре, тысячи человек, которые до той поры лениво постреливали в нашу сторону. Однако крепостные бастионы подавить было невозможно: за толстыми стенами стояли многочисленные мощные орудия как голландские, так и датские, и вели по нам такой интенсивный огонь, что всего за три часа мы потеряли около двухсот человек, включая шестерых командиров кораблей; якорные цепи оказались сорваны, и нас понесло по ветру, который дул нам в лицо с такой силой, что мы не смогли пустить в ход зажигательные бомбы, которые в противоположном случае безусловно сделали бы свое дело; поэтому мы ушли в море, разнеся в щепки весь город и не потеряв при этом ни единого корабля. Сейчас мы дрейфуем, дожидаясь перемены ветра, которая позволила бы нам применить зажигательные бомбы и положить тем самым конец всей битве. Мистера Монтегю и брата Томаса Уинхдема убило одним пушечным выстрелом буквально рядом со мною, но Всемогущий Господь уберег меня и от малейшей царапины. Мадам, Вам наверняка наскучил мой рассказ, за что я и прошу у Вашей светлости прощения.

Ваш глубоко преданный сын Рочестер.

Я старался держать себя воистину зрелым мужем, но, вопреки собственной воле, мне пришлось взять денег займы.

Прочитав это письмо, можно подумать, что в битве при Бергене победили англичане. Клиффорд, докладывая Сэндвичу, выразился честнее: «Орешек оказался нам просто не по зубам». Да и сам Рочестер через десять лет предложил более достоверную, хотя все же, мягко говоря, неточную версию происшедшего в «Истории безвкусицы»:

При Бергене хорош был план

Разбить голландский флот;

Не будь предательства датчан,

Не будь коварных вод,

Была б их сила где? — В Европе? —

Куда уж им! — В п.зде и в жопе!

Интересно, как Рочестер, видевший воочию смерть двух друзей в бою, воспринял изысканно-ироническое описание морского сражения, опубликованное Джоном Драйденом в «Annus Mirabilis»?

Кого пристукнуло фигуркой из фарфора,

Кого — ароматической свечой.

18 августа, согласно дневнику Сэндвича, потрепанная флотилия воссоединилась с

основными силами флота под Фламборо-Хед. «Примерно в 11 часов подошли корабли сэра Томаса Теддемана, и к нам на борт поднялись сам Теддеман, сэр Томас Клиффорд, лорд Рочестер и остальные. Я отправил Клиффорда к королю и герцогу с полным отчетом о проделанной кампании».

Четырехдневная битва; адмирал де Рюйтер[27]

«Проделанная кампания» обернулась полным пшиком. И дело было не только в фиаско при Бергене; ведомый де Рюйтером флот, возвращению которого в Голландию и должен был воспрепятствовать Сэндвич, окончательно ускользнул от него и благополучно бросил якорь у берегов континентальной Европы. Возвращение прославленного адмирала воодушевило голландцев не в меньшей мере, чем это могла бы сделать одержанная победа. Пепис узнал о происшедшем 19 числа — и не исключено, что его письмо Рочестеру, отправленное с оказией (Клиффорд возвращался к Сэндвичу с августейшей реакцией на «полный отчет»), порадовало того не меньше, чем огорчил королевский разнос адмирала. Надежды на брак с богатой наследницей вновь становились реальностью! Потому что, проведя в Лондоне всего четыре дня, лорд Хинчингбрук заболел оспой. «Бедняга! — написал Пепис. — Только прибыл из Франции и сразу же заболел. Да еще такой хворью! Как ему теперь показаться на глаза своей возлюбленной?»

Главной целью для Сэндвича стало достижение хоть какого бы то ни было успеха, чтобы не столько прервать, сколько сбалансировать унылую череду неудач. Его единственная надежда заключалась в том, чтобы перехватить голландский флот на пути из Бергена в Голландию. Де Рюйтер не боялся боя в открытом море и, напротив, сам искал его, но тут, впервые за всю войну, сама природа сыграла на руку англичанам. Буря изрядно потрепала голландский флот и погнала корабли, разрозненные и небольшими группами, к голландскому берегу. Уже 5 сентября Сэндвич получил возможность написать королю о первом, пусть и не слишком значительном, успехе, а 12-го он доложил о победе, способной уравновесить поражение при Бергене. Из бухты Сол-Бэй он написал, что натолкнулся на восемнадцать голландских парусников и захватил большую часть из них — четыре военных корабля, несколько купеческих судов и несколько грузовых с боевой амуницией и припасами продовольствия. Два неприятельских корабля сгорели, причем подожгли их, похоже, сами голландцы. Тысяча человек была взята в плен. Единственной же достойной упоминания королю потерей англичан стала гибель капитана Ламберта. В конце письма Сэндвич сообщил, что только что встретил сорок кораблей противника, однако уклонился от боестолкновения по погодным условиям (надвигался шторм) и ввиду чрезмерной близости голландского побережья (всего восемь или девять лиг). На якорь он собирался стать флотом в составе восьмидесяти боевых кораблей и купеческих судов, включая два с ост-индскими и еще несколько — с другими трофеями. И, уже завершая письмо, Сэндвич особо выделил лорда Рочестера, проявившего отвагу и предприимчивость и сумевшего принести общему делу немалую пользу.

2

Рочестер вернулся в Англию на самом пике чумы. В третью неделю сентября эпидемия унесла чуть ли не семь тысяч жителей Лондона. Из охваченного чумой города бежали все, кто мог; здесь остались лишь голытьба, которой просто некуда было деваться, несколько совестливых официальных лиц, вроде Пеписа, жующий табак старый солдат Монк, теперь уже герцог Альбемарль, которого ничто не брало, — и больные. Все умирали или ждали смерти; вымерли, можно сказать, сами улицы. 27 июля двор переехал из Хемптон-Корта в

Солсбери, чума пошла следом; двор перебрался в Уилтон, а затем в Оксфорд. 16 сентября, уже из Сент-Джайлза близ Оксфорда, Карл ответил на письмо Сэндвича: «Я не мог поблагодарить вас за первые радостные известия в письме от пятого числа, потому что не знал, где вы находитесь, и вот лорд Рочестер доставил мне ваше письмо от двенадцатого — с отчетом о уже второй победе над голландцами...» Поскольку двор находился в Оксфорде, можно предположить, что Рочестеру удалось в конце года заехать повидаться с матерью и навестить собственное имение Эддербери. Его ратные подвиги перевесили недавнее бесчестье, причем с лихвою. 31 октября король пожаловал ему семьсот пятьдесят фунтов — скорее всего, на покрытие долгов, сделанных во время службы на флоте. Но это наверняка было и признанием его заслуг в битве при Бергене, потому что одновременно с денежной выплатой Рочестеру в рыцарское достоинство был возведен Чарлз Арбор, служивший вместе с ним на «Возмездии».

В Оксфорде шел пир во время чумы. В ноябре Пепису сообщили, что «между королем и герцогом Йорком имеются серьезные трения, и все только и говорят об их бесчисленных любовных похождениях: герцог отчаянно влюблен в мисс Стюарт. Мало того, герцогиня завязала бурный роман со своим новым конюшим Генри Сидни, не прервав отношений и с прежним — Гарри Сэвиллом, — так что только Господу ведомо, чем все это закончится». А в Лондоне, где в отсутствие двора стало в этом смысле скучновато, мальчишки открыто горланили на улице похабные куплеты: «Без леди Каслмейн король совсем не ту сыграет роль» и «Королевству не бывать, пока она не ляжет спать». Все это, на взгляд Рочестера, разительно отличалось от штормов в Северном море, опасностей Бергена и тревожных мыслей о промысле Божьем.

Двор вернулся в Лондон в феврале 1666 года (чума к этому времени почти сошла на нет), и уже в марте Рочестера назначили королевским постельничим. Обязанности постельничего описывает Делон:

Постельничие, старшего из которых называют подающим мантию, тогда как остальных — подающими тот или другой из прочих предметов королевского туалета, — имеют честь и обязаны присутствовать при утреннем пробуждении короля и поддерживать заведенный порядок в опочивальне. Постельничие, как правило, принадлежат к высшей английской знати. Они поочередно дежурят в королевской опочивальне, проводя по целой неделе из ночи в ночь на кушетке в углу покоев, и в отсутствие подающего мантию по необходимости подменяют его. Дежурят они также на частных трапезах короля, когда удаляют лакеев и слуг. Жалованье каждого из постельничих составляет тысячу фунтов.

Должность постельничего при Карле II не была пустой, пусть и почетной формальностью, в которую она превратилась в последующие царствования. Король продуманно назначал постельничими своих личных друзей, членов «развеселой шайки-лейки»[28], ибо постельничий становился носителем более чем конфиденциальной информации. Назначение Рочестера свидетельствует о том, что он уже изрядно сблизился с королем. Но Рочестер был еще слишком молодым человеком, чтобы предпочесть кутежи приключениям и опасностям, — и уже летом 1666 года, не предупредив никого из близких о своих планах, он вновь отправился во флот — на сей раз в Ла-Манш, под начало к сэру Эдуарду Спрэггу, «веселому человеку, славно поющему славные песни», который, вопреки своей репутации бесстрашного воина, потерпел фиаско, посватавшись к соседке Пеписа, «некоей вдове по имени миссис Холлуорти, которая, будучи женщиной богатой, умной и веселой, отвергла его притязания не только без раздумий, но и с презрением, какого доселе никто не видывал».

Гравюра В. Холлара[29]

В эту пору виды на брак самого Рочестера казались столь же ничтожными, как бесславное

сватовство его командира. В качестве жениха он мог похвастать разве что личными достоинствами, тогда как опекуны мисс Малле требовали денег — и только денег, в чем разочарованно убеждался один претендент на ее руку вслед за другим. Ее опекуны, двое почтенных джентльменов, имели на руках отличный товар и были преисполнены решимости получить за него достойную цену. Держа на длинном поводке лорда Сэндвича, они исподтишка вели переговоры с герцогом Ормондом. Поверенный Ормонда Николлз после неудачного похищения, предпринятого Рочестером, рьяно взялся за дело. Пока лорд Хаули был в отъезде, Николлз отправился на запад, чтобы получить личную аудиенцию у Элизабет. Он предъявил Джону Уорру письмо лорда Джона Батлера (сына герцога Ормонда) и затем потребовал, чтобы это письмо было прочитано и самой мисс Малле.

Сэр Джон Уорр, увидев, что юной леди не терпится прочитать письмо милорда собственными глазами, невероятно разгневался и заявил мне, что не даст обвести себя вокруг пальца; в ответ на что я с меньшим гневом возразил ему, что не заслуживаю подобной отповеди, да еще в таком тоне, поскольку намерения мои чисты и предельно прозрачны. Юная леди была при этом разговоре и, как мне показалось, мысленно приняла мою сторону, хотя выразить этого вслух не решилась. Она присутствовала при здравнице в честь герцога Ормонда и лорда Джона, осушив при этом весьма вместительный полукубок кларета — столько вина, я полагаю, она не пила еще ни разу в жизни. Мы с сэром Джоном в конце концов подружались, и он заверил меня в том, что они всей семьей выступят на стороне лорда Джона, хотя я поверил бы ему легче, скажи он, что они всей семьей выступят на собственной стороне.

Вместительный полукубок кларета был не единственным доказательством того, что Элизабет не нравится играть роль бессловесного товара в руках у опекунов.

Юная леди сегодня утром спустилась в домашнем платье в холл попрощаться со мною; ее мать торопила ее поскорее уйти, но она, воспротивившись, провела со мной около часу — и все это время я использовал на то, чтобы наилучшим образом заверить ее в глубоких чувствах и благих намерениях лорда Джона... Я сказал юной леди, что, независимо от исхода переговоров в Солсбери, лорд Джон непременно приедет повидаться с ней лично. Ее мать присутствовала при этом, не давая мне возможности остаться с юной леди наедине ни на мгновение. И тут же объявила, что дочь ни в коем случае не встретится с лордом Джоном. Но почему же, мадам, сказал я; надеюсь, вы передумаете. Элизабет, покраснев, промолчала. Да потому, Бетти, сказала мать, что ты обещала дедушке; на что юная леди ответила, что если дедушка не разрешит, то противиться его воле она не будет, но вид у нее, да и тон, каким она произнесла эти слова, были безутешными... У нее хитростью выманили обещание не выходить замуж без согласия деда.

Николлз добавляет, что юная леди очень умна и, несомненно, питает «сердечную приязнь к лорду Джону».

Это письмо представляется достаточно правдивым. Будучи умна, молода и богата, Элизабет обнаружила, что находится во власти матери и обоих опекунов. Она готова была проникнуться «сердечной приязнью» к кому угодно, кто оказался бы способен разомкнуть порочный круг и посвататься к ней без посредников. Лорд Джон Батлер хотел, но робел; Рочестер решился, но из его затеи ничего не вышло; теперь ей оставалось уповать на лорда Хинчингбрука.

Встреча Элизабет с Николлзом прошла за три дня до битвы при Бергене, а к тому времени, как Рочестер поступил на службу во флот вторично, один из его соперников уже без боя капитулировал. Притязания лорда Хаули показались герцогу Ормонду чрезмерными; к тому же мнению постепенно склонялся и лорд Сэндвич. 30 мая 1666 года сэр Джордж Картерет написал Сэндвичу, отправившемуся меж тем с посольством в Испанию:

Лорд лейтенант [Хинчингбрук] отказался от дальнейших притязаний на западную леди. Мы с

мистером Муром провели несколько встреч с ее дедом, которого, как мы поняли, сильнее всего на свете интересует собственная выгода, причем его притязания столь непомерны, что мы сочли за благо прервать переговоры. Отчим означенной особы присутствовал при всех раундах и во всем поддакивал деду.

Девушка меж тем попыталась перехитрить своих опекунов, послав служанку к лорду Хинчингбруку с предложением договориться о тайной брачной церемонии, но этот молодой аристократ — «на диво уравновешенный господин», как характеризует его Пепис, — отказался строить какие бы то ни было планы, «кроме проникнутых духом чести». Вся эта история закончилась в августе 1666 года на встрече между Хинчингбруком и Элизабет в Тонбридже, куда она приехала вместе с матерью. Эта встреча (почти наверняка с участием матери) оказалась наибольшим отклонением от правил чести, на какое был способен Хинчингбрук; к тому же, по свидетельству Пеписа, ему не понравились «тщеславие и развязность» Элизабет. Девушка объявила несостоявшемуся жениху, что питает чувства к другому; переговорам сторон тем самым был положен конец, и Мур в письме Сэндвичу, извещая об этом, присовокупил, что состоявшийся разрыв его радует. Странным образом негодование, испытываемое партией жениха в связи с непомерными требованиями опекунов, распространилось в последние месяцы на саму невесту (отважно попытавшуюся бросить вызов обычаям своего времени) — и в письме Картерета Сэндвичу от 10 сентября сквозит откровенное злорадство: «У западной леди не осталось соискателей руки — и, похоже, уже не появится новых».

3

Естественно — хотя, возможно, и не совсем корректно — предположить, что человеком, о чувствах к которому заявила Элизабет на встрече в Тонбридже, был Рочестер. Его поведение в роли претендента на ее руку отличалось смелостью, которую она не могла не оценить, особенно по сравнению с нерешительностью Хинчингбрука. Его отвага в битве при Бергене снискала всеобщее восхищение, и сейчас, в Ла-Манше, он вновь сумел отличиться.

На борт корабля к сэру Эдуарду Спрэггу он поднялся за день до начала самого крупного за весь год морского сражения; почти все добровольцы, находившиеся на том же корабле, в этой битве пали. Мистер Миддлтон (брат сэра Хью Миддлтона) лишился обеих рук. В пылу сражения сэр Спрэгг, будучи недоволен действиями капитана одного из принимающих участие в битве кораблей, не сразу сумел найти гонца, который переправился бы с борта на борт под непрерывным огнем противника. Лорд Рочестер вызвался добровольно — и, проскользнув на небольшой шлюпке под канонадой, передал капитану адмиральский приказ, после чего вернулся на борт флагмана. Все, кто видел это, выразили восхищение.

Сама же по себе битва, растянувшаяся на четыре дня в начале июня, обернулась, увы, полным разгромом. Англичане потеряли пять тысяч убитыми и три тысячи пленными, а также восемь линейных кораблей. Прогуливаясь по Гринвич-парку, Пепис слышал «ровный гул канонады». Рочестер прославился, но многим другим повезло куда меньше — их репутация была погублена раз и навсегда. В этот ряд попали сам Албемарль, принц Руперт, Теддеман. Спрэгг был далеко не единственным, у кого нашлось дурное слово для собственных подчиненных. Албемарль написал домой, что никогда еще ему не доводилось командовать такими никчемными офицерами; лишь человек двадцать из них вели себя в бою по-мужски. На поле брани пали капитаны Бэкон, Тирн, Вуд, Мортхем, Уитти и Коппин. Сэр Уильям Клерк и сэр Кристофер Мингс, самые популярные в военно-морской среде флотоводцы, скончались от ран, а тело сэра Уильяма Беркли было выставлено на посмешище в Гааге в сахарном сундуке под корабельным флагом. Удаче предстояло улыбнуться англичанам уже в августе,

но сейчас, в июне, казалось, что все надежды, связанные с этой войной, пошли прахом — надежды, уровень которых характеризуют слова сэра Томаса Клиффорда, адресованные Арлингтону с борта «Короля Карла»: «Каждый проникся духом решимости и флотской доблести; даже простые матросы говорят друг другу: "Мы разобьем их — сейчас или никогда!"»

Смертельная битва, бушевавшая на протяжении четырех дней первой недели июня[30]

Из четырехдневного «избиения младенцев», устроенного де Рюйтером, Рочестер вышел в ореоле вновь подтвержденной воинской доблести. Если бы какой-нибудь Гэдбери взялся составить ему гороскоп в эти дни, в предсказании едва ли фигурировали бы придворное распутство в узком кругу и предъявленные поэту позднее обвинения в трусости. Куда вероятней звезды пообещали бы ему женитьбу на западной наследнице. Конечно, его на свой лад влекло к этой романтической и неискушенной девице, но не исключено, что на самом деле его легкомысленная душа нашла в ней идеальную пару, потому что, похоже, она все-таки имела в виду не Рочестера, когда в августе говорила лорду Хинчингбруку о глубоких чувствах, питаемых ею к другому мужчине. Куда большее подозрение должно пасть в этом плане на некоего Попхема, упоминаемого Пеписом в записи от 25 ноября:

Мистер Эшбернхем сегодня за ужином поведал мне о том, как богатая невеста мисс Малле рассуждает со служанками о претендентах на ее руку. По ее словам, лорд Герберт был бы рад жениться на ней, лорд Хинчингбрук выказал известное равнодушие, лорд Джон Батлер непременно в конце концов передумал бы, лорд Рочестер, дай ему волю, взял бы ее силой, а вот некий Попхем (о матримониальных намерениях которого ровным счетом ничего не известно) задницу бы ей вылизал, только б на ней жениться.

И Элизабет, и Рочестер были молоды, хороши собой и умны; оба, не исключено, придерживались легкомысленной философии любви, однажды безупречно сформулированной самим поэтом:

О прошлом речи не веду —

Как бред оно, как сон.

В раю ли побывал, в аду,

На счастье или на беду,

Но отоснился он.

Я о грядущем промолчу —

Оно еще темней.

Я настоящим жить хочу —

И в настоящем улучу

Одно мгновенье с Ней.



Узлом я завяжу язык

О верности навек.

Да будь я верен Ей хоть миг

(Длиною в жизнь), пока приник —

Я верный человек.

Богатая наследница: Элизабет Малле, графиня Рочестер[31]

Миг «длиною в жизнь» начался со своего рода повторного похищения (уже без помощи друзей) и тайного брака и в некотором смысле и впрямь продлился до гробовой доски. Сойдясь, они уже больше никогда не расставались. Она всякий раз дожидалась в деревне его возвращения вконец измотанным из цитадели порока; дожидалась, полная то нетерпения, то гнева, но неизменно дарующая прощение; он в Лондоне — в объятиях то какой-нибудь грязной шлюхи из притонов вокруг «Друри-лейн», то своей возлюбленной Элизабет Барри — никогда не забывал о том, что в его жизни есть жена. Это мучило его; он садился писать ей стихи то в состоянии слепого гнева, то, напротив, настроившись на мрачно-доверительные излияния; но это его к ней и приковывало — и, разбиваясь о скалы пьянства и похоти, все-таки докатывались до ее берега волны любви, празднично-прекрасные, пусть, увы, и замутненные:

Вдали тебя зачакну здесь.

Не спрашивай, когда вернусь.

И без того извелся весь:

Дневная марь, ночная гнусь.

Тебя, любимая, бегу —

И сердце рвется на куски;

И воспаление в мозгу —

Плод фантастической тоски.

Но пусть никак не одолеть

Мир морока и мишуры,

К тебе вернусь я умереть

В благословенные шатры.

А может выпасть худший жребий:

К тебе дороги не найду

И, умерев, найдусь не в небе,

Но там же, где и жил, — в аду.

Элизабет Малле, у которой «не осталось соискателей руки», прибыла ко двору в сентябре. Рочестер в это время еще, должно быть, оставался в море, но к ноябрю, когда она столь бесцеремонно обсуждала женихов со служанками, он уже вернулся. 15 ноября поэт был на балу в честь дня рождения королевы, который (в описании Пеписа) не мог не поразить по контрасту человека, только что побывавшего участником и свидетелем и чуть не ставшего жертвой четырехдневной бойни:

В полдень все собрались; зажгли свечи, король с королевой и все присутствующие на балу дамы заняли свои места. Невозможно было не восхищаться мисс Стюарт, которая утопала в черно-белых кружевах, а ее чело и плечи были усыпаны брильянтами. И точно так же разоделось большинство дам (за исключением королевы); тогда как король предстал в дорогих шелках, расшитых серебром; в серебряных же или в других бросающихся в глаза роскошных нарядах явились танцоры во главе с герцогом Йорком. Король с королевой составили первую пару (а всего их было примерно пятнадцать) — и начался танец. Из числа господ на балу я совершенно определенно запомнил короля, герцога Йорка, принца Руперта, герцога Монмута, герцога Бекингема, лорда Дугласа, мистера Гамильтона, полковника Рассела, мистера Гриффита, лорда Оссори, лорда Рочестера. А из числа дам — королеву, герцогиню Йорк, мисс Стюарт, герцогиню Монмут, леди Эссекс Говард, миссис Темпл, супругу шведского посла, леди Арлингтон и дочь лорда Джорджа Беркли. И многих еще не запомнил. Но все были в роскошных нарядах, все щеголяли брильянтами и жемчугами.

После бранля сплясали курант, время от времени музыканты играли и французские танцы, но так редко, что танцоры в конце концов заскучали, да мне и самому захотелось, чтобы все это побыстрее закончилось. Лучше всех танцевала мисс Стюарт — особенно тот французский танец, который король назвал «новым», — вышло это у нее просто замечательно. Хотя в целом танцы не слишком интересны — ни как занятие, ни как зрелище. А вот наблюдать за людьми в щегольских нарядах было и впрямь любопытно, так что я не пожалел о том, что пришел. Чтобы увидеть столько роскоши, иному всей жизни не хватит — а тут, пожалуйста, всё сразу.

К полуночи веселье закончилось, и я не без труда нашел извозчика... Итак, домой, к женошке, наскучась глупыми танцами и наглядевшись на роскошные наряды знатных господ и дам; леди Каслмейн (без которой всё ничто) тоже была на балу, роскошно разодетая, правда, не танцевала; поужинать, стоит ужасный холод, — и поскорее в постель.

Это историческое веселье выглядело повторением тех парижских балов, когда плясали так, «словно победа осталась за нами»; тем более что и на сей раз особых причин для ликования

не было; правда, в августе удалось взять временный реванш за июньское поражение, однако уже в сентябре ситуация еще раз перевернулась, и уже не англичане блокировали голландское побережье, а голландцы — английское. Однако страдали от этого, терпя убытки, главным образом купцы — и хотя Том Киллигрю в присутствии поэта Кэрю бесстрашно заявил королю, что при дворе есть благородный и могущественный человек, пусть и находящийся нынче в опале, которому под силу исправить положение, и что имя этого человека Чарлз Стюарт, — мало кого в Уайтхолле волновали подлинно государственные вопросы.

Одним из этих немногих, судя по всему, был Рочестер. У него имелся боевой опыт — причем опыт не победы, а поражения, что, безусловно, куда поучительнее. Он покинул флот, но не ушел с воинской службы. Из архивов за 1666 год известно, что он получил под начало кавалерийский эскадрон.

Однако истинного сына Генри Уилмота изумлял, разумеется, не только контраст между битвами и балами. Куда разительнее было противоречие между надеждами старых «кавалеров» на Реставрацию и осуществлением этих надежд. Два прошения, поданные королю в августе и в ноябре того же года, наверняка должны были особо заинтересовать Рочестера. 10 августа королевский кравчий Джеймс Холсолл написал Джорджу Портеру (в Стоун-галлери в Уайтхолле), что миссис Картер — бедная женщина, с которой они повстречались за день до этого и которая, проживая ранее под общим кровом с миссис Эббот, принимала у себя Тома Блейна, Робина Киллигрю, сэра Роберта Ширли, мистера О'Нила (читатель помнит его как «мистера Брайана», написавшего письмо «мистеру Джексону»), Ника Арморера (спутника Генри Уилмота в бегстве из Эйлсбери), самого лорда Рочестера и многих других верных слуг короля и тем самым доказала преданность престолу, — сейчас буквально умирает с голоду. И было бы по-христиански поместить ее в больницу или снабдить хоть какими-нибудь средствами к существованию. И с ничуть не меньшим пафосом некто Джордж Миддлтон, старик из Хэмпшира, обратился с еще более ничтожной просьбой. Ему — в его семьдесят два года — хотелось всего лишь получить разрешение на дальнейшее пребывание в стране, а не отправиться в вынужденное изгнание за предполагаемую приверженность делу Республики. В прошении он утверждал, что предоставил его величеству приют после битвы при Вустере и, рискуя собственной жизнью, вызволил графа Рочестера из переделки после фиаско под Солсбери (имеется в виду заговор 1655 года).

Возможно, именно эти два случая, напрямую связанные с его отцом, пришли на ум Рочестеру, когда он писал «Историю безвкусицы»:

Вознаградил врагов отца,

Цареубийцу пощадил,

А верных Трону до конца

На хлеб и воду посадил.

Такая логика похвальна

И вместе с тем парадоксальна!

В эти месяцы, получив возможность наблюдать за «шалостями» двора, однако еще не начав принимать в них участие, Рочестер подавал, пожалуй, наибольшие надежды. Но черту под

данным периодом его жизни подвела женитьба. В сентябре 1666 года у Элизабет Малле, по свидетельству Джорджа Картерета, не осталось соискателей руки. 29 января 1667 года она вышла за Рочестера. Почти наверняка замужество было именно таким внезапным и, не исключено, тайным, как ей и хотелось, потому что трудно поверить в то, что старый лорд Хаули и вечно поддакивающий ему Джон Уорр могли бы дать согласие на ее брак с бедствующим графом, который всего несколькими месяцами ранее тщетно надеялся поживиться золотишком и шелковыми сорочками у Бергенского причала. О том, что король оказал нажим в пользу нищего жениха, известно из письма от 15 февраля леди Рочестер бывшему наставнику ее сына сэру Ральфу Вернею, в котором она призывает его порадоваться, а главным образом поспособствовать «внезапной женитьбе моего сына Рочестера на мисс Малле вопреки ожиданиям ее опекунов. Король, слава Б-гу, весьма удовлетворен этим — и поженились они с августейшего благословения, хотя всех нас сейчас весьма тревожит вопрос о приданом. Предстоят переговоры с опекунами, и молодые нуждаются в помощи умного и знающего человека — такого, как Вы, сэр Ральф. Я, конечно, пошлю с ними стряпчего Кула и моего Кэри, но нужен и кто-нибудь, пользующийся большим авторитетом».

В феврале, через шесть дней после свадьбы, Пепис видел молодых в театре. Это был Герцогский театр — и давали там корнелевского «Геракла» в переводе с французского.

Зал был полон; в том числе и высокопоставленными особами; наряду с прочими, здесь была мисс Стюарт, чрезвычайно красивая, с шиньоном на голове, как называет это моя жена; в шиньонах были еще несколько дам; мне это не нравится, а вот моя жена в восторге — но только потому, что это модно. Увидел я и лорда Рочестера с супругой, мисс Малле, которая после стольких тревожнении все-таки вышла за него; причем, как перешептывались в партере, это с ее стороны — великий акт милосердия, потому что он гол как сокол. Но было забавно наблюдать за тем, как все повскакали с мест, когда, ближе к концу спектакля, в зал вошел лорд Джон Батлер, сын герцога Ормонда и один из бывших женихов мисс Малле, — и вот он улыбнулся ей, а она ему.

## IV

### Время сплина

#### 1

Том Киллигрю, драматург и придворный шут[32]

На день женитьбы Рочестеру было без малого двадцать лет; жить ему оставалось еще тринадцать — и расписать это время по годам представляется крайне трудной для биографа задачей. Оно полно фантастическими историями и населено столь же невообразимыми персонажами; некоторые из них — вроде лекаря-шарлатана Александра Бендо — подтверждены источниками, тогда как другие — взять хоть лжелудильщика из Барфорда — наверняка являются мифическими. На это время приходятся романы Рочестера с актрисой Элизабет Барри, с мисс Бугель и с королевской фавориткой мисс Робертс; литературные знакомства, дружбы и ссоры (наивысшей точкой последних стало нападение наемных убийц на Драйдена в Аллее Роз); состоявшиеся и чуть было не состоявшиеся дуэли; пререкания с королем. Эти годы нет смысла отслеживать хронологически: сами по себе даты во многих

случаях достаточно спорны; может показаться и так, что время прошло исключительно в пьяном угаре.

Война на море, принеся Рочестеру славу, а стране — позор, осталась позади; приключения не всегда удачливого соискателя богатой невесты — тоже; а процесс зачатия детей свелся к дискретным вылазкам в сельскую местность — в собственный дом в Эддербери или в сомерсетское поместье жены Инмор, — в два единственных места на земле, где Элизабет вознамерилась провести и в конце концов провела (изредка досадуя на это) б?льшую часть жизни. В туманном океане хронологической неуверенности одинокими островками высятся даты крещения его детей. 30 августа 1669 крестили дочь Анну; 2 января 1671 — его единственного сына Чарлза; 13 июля 1674 — Элизабет; 6 января 1675 — его последнюю дочь Малле, — или, точнее, его последнюю законную дочь, потому что еще одну родила Рочестеру в 1677 году мисс Барри.

Пьяный угар наступил не сразу. От имени «Сент-Эвремона» сказано: «Из путешествий он вынес вкус к воздержанности, что в возрасте, тяготеющем к необузданности, было само по себе исключительно; однако достаточно быстро, пусть и постепенно, от былой умеренности не осталось и следа». К несчастью, Рочестер унаследовал от отца одно из самых пагубных личных свойств: его ум и остроумие ярче всего расцветали в пьяном виде. «Природная живость его воображения, — написал Бернет, — будучи подстегнута алкоголем, превращала его в настолько прелестного человека, что многие, желая насладиться игрой его ума, сознательно спаивали его и в конце концов споили настолько, что... на протяжении пяти лет подряд он был беспробудно пьян: не то чтобы не держался на ногах или лишался дара осмысленной речи, но просто... был недостаточно хладнокровен, чтобы стать хозяином самому себе и своей судьбе».

У его пьянства была еще одна сторона, отмеченная «Сент-Эвремоном» как не слишком привлекательная для собутыльников Рочестера: «Ради красивого жеста или острого словца он был готов рискнуть жизнью, а такая цена за удовольствие от его речей казалась многим слишком высокой». Однако в дошедших до нас историях рисковать жизнью доводилось не Рочестеру, а скорее его собутыльникам. В драке в Эпсоме погиб не Рочестер, а его друг Даунс. Еще одна показательная история разыгралась в одном из кабаков на берегу Темзы:

Покойный лорд Рочестер в дружеской компании пировал в «Медведе» под мостом, приведя с собой нескольких музыкантов, в том числе горбатого скрипача, к которому они издевательски обращались «Ваша честь». Для пущей забавы решено было всем прыгнуть с балкона в реку, причем очередь Рочестера оказалась последней. Дождавшись момента, когда все уже прыгнули в воду, лорд Рочестер, который и в мыслях не держал делать этого самому, схватил горбатого скрипача и сбросил с балкона. Другьям же он крикнул: «Вот, получайте к себе вашу честь!»

О красноречии Рочестера в состоянии глубокого опьянения свидетельствует, в частности, письмо Генри Сэвилу — его многотерпеливому и едва ли не повсеместно презираемому другу-толстяку. Мистер Сэвил!

Преврати милосердие в краеугольный камень собственного благочестия, избавив твоего преданного слугу Рочестера от подкрадывающейся, как смертельный хищник, трезвости; чему я, уж поверь, не замедлю воздать должное, поелику остро, нуждаюсь не столько в хорошей компании, сколько в добром вине (ибо, подобно отшельнику, способен предаваться возлияниям и наедине с собою, а вернее — всего втроем: с Господом Богом и собственной совестью). Припомни, от каких мук я избавил тебя совсем недавно, отговорив от пагубного намерения предаться мудрости, замешенной на круглосуточном воздержании! И, если ты человек по природе своей благодарный (что означало бы, что ты среди своих соплеменников исключение, если не просто уникал), докажи это, подсказав предьявителю данного послания кратчайший путь к лучшим винам во всем Лондоне. И, прошу тебя, не вздумай предьявить

высшее доказательство священной дружбы в усеченном, равно как и в сокращенном виде; изволь подойти к решению бегло обозначенной в сих строках задачи с благоговением, достойным жреца, приносящего щедрую жертву, или ночного татя, осторожно крадущегося в чужой дом. Предоставь твоему благонамеренному рабу (являющемуся вместе с тем и твоим строжайшим судьей) проворной мышкой проскользнуть из погреба в погреб, а в каждом из погребов — от бутылки к бутылке, пока не отыщется вино, достойное августейшего одобрения моего благородного вкуса. Дабы дополнительно увлечь тебя задуманным предприятием, присовокуплю, что имею твердое намерение привлечь и тебя самого к процессу распития. Лорд \*\*\* уточнит детали нашего заговора.

Дорогой Сэвил! Если ты и впрямь надеешься когда-нибудь превзойти самого Макьявелли или, пуще того, сравняться со мною, пришли доброго вина! И да успокоится на том твоя душа, вотще мятущаяся перед неравным выбором между политиками и девками! Низжайший поклон тебе, домоседу и скопидому, прославившемуся на весь Лондон недюжинным умом и фундаментальным, как ты сам, кругозором. Рочестер.

Пьянство, которое поначалу приносило Рочестеру восторги вдохновения и феерические фейерверки фантазии, уже в скором времени, объединив усилия с подцепленной хворью, обрушилось на его здоровье, связало язык, разбередило совесть и привнесло в стихи вкус неизбывной горечи. Этот контраст можно отследить на примере двух стихотворений. Первое из них — знаменитые стансы «Осушая чашу» — начинается так:

Отлей мне чашу, бог Гефест,

В такую глубину,

Чтоб пить, пока не надоест,

Как пили в старину;

И чтобы гладь могла приять,

Как море, корабли,

Пока сам хмель не сел на мель

За мили от земли!

А второе, горькое и несчастное «Послание к даме», представляет собой иронический парафраз одноименного стихотворения Ричарда Лавлейса:

Люблю твою корму и киль,

А ты — мой любишь прыщ;

Твоя соперница — бутылка,

А мой соперник — хлыщ...

На твой безумный взгляд хорош  
И непробудный мрак:  
Ты беспрепятственно найдешь  
Тропу в любой кабак...

Ты исповедуешься мне  
Без страха и стыда:  
И я в говне, и ты в говне —  
Мы пара хоть куда.

Грустно размышлять о том, почему героический участник проигранных сражений при Бергене и в Даунсе, человек, сумевший не поддаться чарам, расточаемым обворожительным монархом, человек, познавший подлинную любовь (с ее уникальным сплавом поэзии, воображения, остроумия и тайного трепета) столь глубоко, что ему удалось изумительный анализ этого чувства в стихотворении, открываемом строками:

Мелькнет в ее объятьях век  
Быстрей, чем зимний день, —

почему, одним словом, из всей придворной толпы за «предводителем бессмысленных полчищ» Бекингом с такой готовностью устремился один Рочестер?

В качестве ответа на этот вопрос может быть предложено многое: голос отцовской крови, мода эпохи, личный пример друзей; не исключено и то, что в бездну отчаяния вверх Рочестера его собственный острый взгляд знатока человеческих душ (а значит, и знатока своей) — тот самый взгляд, которому он обязан репутацией непревзойденного сатирика. Бакхерст был праздным гулякой, в прелестных стихах которого редко ночевала серьезность; Сэвил — если отвлечься от его политической деятельности — играл роль развеселого Фальстафа; Рочестер же, единственный в неразлучной троице, пусть и не придерживаясь правил морали, хотя бы осознавал их существование. Он признался однажды Бернету в том, что всю жизнь «втайне ценил и почитал порядочность и благородство». Защищая право своих сатир на существование словами «есть люди, не воспитуемые и не наказуемые ничем, кроме презрительного смеха», он не лицемерил, хотя на смену оскорбленному в своих лучших чувствах пуританину, который только и мог быть автором такого высказывания, мгновенно приходил поэт и остроумец, внушающий все тому же Бернету, что «мелкая ложь в нападках — это завитушки орнамента, в отсутствие которых была бы погублена красота всего стихотворения».

Пьянство и разврат являлись ему не в очаровательно-неверном облике мадам Рампан и прочих разбитных красоток из пьесы его друга Этериджа «Палец ей в рот не клади». Если вкус к беспутной жизни перешел к Рочестеру от отца, то и от суровой матери досталось вполне достаточно, чтобы со всей остротой осознавать, что за безобразие и что за уродство он предпочел «любви, миру и верности», неизменно поджидающим его в Эддербери. И сама эта прямодушная и вместе с тем полная предрассудков женщина, старая леди Рочестер, не смогла бы заклеить условную «Коринну» яростней, чем ее распущенный донельзя сын, пусть и мелькают в приводимых далее строках нотки сочувствия жертве собственных страстей от ее горемычного собрата по несчастью:

Летели окрыленные часы

Ее впервые явленной красы;

С дарами в дверь стучали все подряд

В блаженном предвкушении услад;

Пока не повелел коварный рок,

Чтобы мудрец на ложе с ней возлег —

И, рассмеявшись, тут же вышел прочь:

«Не ступа ты, чтобы в тебе толочь!»

Ее, прознав про скорый этот суд,

Теперь Memento Mori все зовут;

Ославлена, больна, посрамлена,

Старье свое в заклад сдает она;

Полгода кое-как играет роль —

И засыпает на зиму, как моль,

Чтобы весной — на месяц, на денек —

Кого-нибудь прельстил ее манок.

«Зима», одна из четырех аллегорий времен года[33]

Не щадил Рочестер и самого себя, судя по автопортрету, набросанному в стихотворении «Распутство» (если это, конечно, автопортрет):

Встаю в двенадцать, завтракаю в два,

К семи, напившись допьяна сперва,

Лакея шлю, чтобы привел мне блядь,



А приведет — попробуй совладать:  
Цена чрезмерна и сама страшна;  
Усну — стащив кошель, уйдет она;  
Во сне придут богатство и стояк,  
А наяву — ни пенни и никак.  
И если вдруг проснусь, и зол, и пьян, —  
Где взять, на что купить бальзам для ран?  
Проштрафившийся разве что лакей  
За все заплатит задницей своей?  
Терзаю всех, пока не выйдет хмель, —  
И снова до двенадцати в постель.

Таким образом, идет нешуточная война между обладающей особым даром «терзать всех» пуританкой-матерью и вечно окутанным винными парами отцом. Вслед за «парнем из Шропшира»[34] Рочестер вполне мог бы воскликнуть:

Восток, увы, сидит во мне  
И Запад — в вечной с ним войне!

В конце концов тело не выдержало двойной нагрузки, война завершилась полным истощением обоих противников, но материнская сторона все же взяла верх.

Состояние беспросветного отчаяния, в котором, похоже, только и сочинял стихи Рочестер, в существенной мере совпадало с общими настроениями эпохи. Какие надежды возлагали лучшие умы на Реставрацию — и каким горьким разочарованием ознаменовался ее приход; как твердо рассчитывали на победу над Голландией — а война обернулась сплошным позором. Обманутые ожидания, как правило, не исчезают бесследно, а превращаются в неизбывную горечь; война, закончившаяся поражением, приносит мир, но никак не чувство умиротворения. Нам не хватает испытанных на войне волнений, мы уже подсели на них, как на наркотик. В годы после замирения с Голландией английскую литературу поразила болезнь, имя которой сплин, — и британским писателям моего поколения (прозванного потерянным) это весьма знакомо. В письме Сэвилу Рочестер выразился так: «Мир с тех пор, как я могу его вспомнить, непоправимо одинаков, и тщетно было бы надеяться изменить его». Разочарование, монотонность, скука — вот что точило самые тонкие умы. Лишь менее чувствительным людям удавалось найти утешение в мелких скандалах, пришедших на смену приключениям и высоким надеждам.

Одним из таких людей был Генри Сэвил — придворный «толстяк». Любая добыча была ему хороша, а изобильные телеса давали друзьям, да и ему самому повод для вечного веселья. В

сентябре 1671 года в письме болющему у себя в деревне Рочестеру Джон Маддимен яркими красками расписал историю посягательства толстяка на честь леди Нортумберленд:

Миледи гостила у лорда Сандерленда, а кавалера разместили в примыкающих покоях, откуда он глубокой ночью, ведомый злым гением собственной похоти, и проник в ее спальню, что не составило труда, так как болт из замка он ухитрился вытащить еще накануне, а задвижка была только с его стороны. Но то ли он приступил к делу чересчур рьяно, то ли, напротив, ограничился угрожающе недвусмысленной демонстрацией собственных достоинств, — в любом случае безупречно добродетельная дама, переполошившись, принялась дергать за сонетку (к несчастью, висящую прямо у нее над головой) с такой силой, словно не только сердце несчастного сладострастника, но и весь дом оказался объят пламенем. В спальню прибежала служанка, а наш герой ретировался в безутешном отчаянии. Семья Нортумберлендов в ярости, речь идет исключительно об убийстве, так что мы, увы, скорее всего, лишимся одного из бесценных друзей; да послужит все это письмо доказательством того тезиса, что каждый должен придерживаться собственной стези и ни в коем случае не ступать на чужую.

Надо было как-то жить дальше — и Рочестер пил, чтобы сделать жизнь выносимой; он писал стихи, чтобы пройти сквозь чистилище собственного несчастья; он пытался возобновить приключения, закончившиеся вместе с войной, вживаясь в роль то кабатчика, то астролога. Чтобы забыть и избыть бранный мир, он предавался двум крайностям — любви и ненависти. Сэр Кар Скроуп («полуглазый рыцарь»), граф Малгрейв, да и сам король служили ему орудиями бегства от действительности — точь-в-точь как мисс Барри, мисс Робертс, мисс Как-бишь-там и бесчисленные девки из Вудстока.

2

Науку ненависти он освоил рано. Науку ненависти, помноженной на неблагодарность, что наводит на мысль о том, что пьянство уже порядочно подпортило ему характер к концу 1667 года, то есть всего через десять месяцев после женитьбы. 5 октября Рочестера пригласили в Палату лордов, вместе с его будущим смертельным врагом графом Малгрейвом. Это было знаком особой королевской милости, так как обоим молодым людям не исполнился еще двадцать один год и их включение в палату вызвало определенные нарекания. 8 ноября

в Палате лордов разгорелся спор и было проведено разбирательство на тот предмет, имеют ли право заседать в Палате лорды, еще не достигшие совершеннолетия, даже если таково письменное предписание короля. Дело затрагивает лорда Малгрейва и лорда Рочестера, последний из которых уже прибыл в Палату, вручив королевское предписание; здесь, однако же, сомневаются в том, что несовершеннолетний может быть членом Верховного суда, и поэтому обоим скорее всего укажут на дверь.

Но королевская воля перевесила — и, вдобавок к двум нашим героям, в 1670 году в Палату был принят несовершеннолетний герцог Монмут, правда, без права выступать в прениях. Обретенный Рочестером статус члена Палаты лордов позволил ему 20 ноября поставить свою подпись под групповым протестом против лорда Кларендона и в пользу проведенного Палатой общин отрешения его от должности лорда-канцлера. Эта некрасивая история является первым свидетельством отхода Рочестера от высоких гражданских норм, которых он придерживался на протяжении всей войны с Голландией.

Старый канцлер сумел по-настоящему преуспеть лишь в одном отношении: он ухитрился восстановить против себя всю страну. Кроме клерикалов, которым он позволил отомстить «еретикам» с восточной жестокостью, оплакивать его падение или возвышать голос в его

защиту было просто некому. В Палате общин его ненавидели за то, что он ревностно отстаивал королевские prerogatives; «кавалеры» не могли простить ему Акта о добровольном и общем прощении, освобождении и забвении, который они называли Актом забвения друзей короля и Актом прощения врагов; для пуритан и католиков он был человеком, который спустил на них англиканских собак.

У короля имелись куда более интимные причины ненавидеть министра, который, как никто другой, помог ему взойти на английский трон. И дело заключалось не только во властно-проповеднической манере Кларендона себя держать, открыто попрекая самого сюзерена тем, что тот ведет беспутную жизнь и совершенно не занимается государственными делами; куда сильнее огорчило Карла известие о том, что Кларендон убедил мисс Стюарт — фрейлину и предполагаемую фаворитку короля — втайне выйти замуж за герцога Ричмонда. В «развеселой шайке-лейке» его, разумеется, тоже терпеть не могли. Бекингом в присутствии короля передразнивал жесты и походку канцлера, используя вместо Кларендоновой трости кочергу. Канцлер же не скрывал презрения к собственным гонителям — и ограничивался лишь этим. Меж тем ему начали предъявлять изрядное количество обвинений: он-де специально женил короля на бесплодной женщине, чтобы его собственная дочь, герцогиня Йоркская, смогла когда-нибудь стать королевой; он сдал Дюнкерк французам исключительно ради личного обогащения; он не постеснялся при возведении собственного дома воспользоваться камнями частично разобранный собор Святого Павла.

Пока герцог Йорк болел оспой, Палата общин отрешила канцлера от должности по обвинению в государственной измене и передала этот вердикт на утверждение в Палату лордов. Аристократы, тоже ненавидя Кларендона, еще сильнее, однако же, не доверяли третьему сословию, поэтому отрешение через Палату лордов не прошло. Однако сильное меньшинство, возглавленное Бекингом и Бристолем и включающее в себя Рочестера, выступило с протестом на вето, наложенное палатой. Меж тем Кларендон поддался на уговоры короля покинуть пределы страны для того, чтобы устранить опасный антагонизм между двумя палатами парламента. И это — последнее — доказательство его верности королю было воспринято как безмолвное признание собственной вины — и вдогонку добровольному изгнаннику полетел указ, навсегда лишаящий его права пребывать на территориях, находящихся под властью английской короны.

Его падение вызвало бурю ликования у тех, кого Ивлин назвал «людьми и ледьми любви», тогда как Пепис обозначил их куда конкретнее: «Бэб Мэй, леди Каслмейн и вся эта развратная свора». Изгнание Кларендона вдохновило Рочестера на написание самой неудачной из его сатир:

Гордыня, похоть, спесь — каков старик? —

Торговец тронном, власти гробовщик,

Отдав Дюнкерк и обескровив флот,

Пустив аристократию в расход

И выдав дочь за брата короля,

Он наконец-то рухнул... О-ля-ля!..

Гонитель «кавалеров» стал гоним,

Стал презираем — да и черт бы с ним!

За короткое время, прошедшее с тех пор, как старый канцлер отечески поцеловал Рочестера в стенах Оксфорда, молодой человек прошел долгий путь.

Но злейшим — и вместе с тем самым «любимым» — врагом Рочестера стал граф Малгрейв, Джон Шеффилд, позднее герцог Бекингемшир (не путать с герцогом Бекингемом — постоянным собутыльником Рочестера). Эта вражда стала частью общей литературной политики той эпохи и в конце концов, по слухам, привела в 1678 году к нападению на Драйдена. Но между вероломной атакой на Кларендона и началом вражды с Малгрейвом Рочестер впал во внезапную ярость; подобные вспышки впоследствии случались все чаще и чаще по мере того, как приходило в упадок его здоровье. 17 февраля 1669 года Пепис написал:

Вчера король ужинал в голландском посольстве; после ужина выпили, и вся компания чрезвычайно развеселилась. Среди прочих там были весьма достойный человек лорд Рочестер и балагур Том Киллигрю, выходки и грубые шутки которого в конце концов настолько разозлили Рочестера, что он на глазах у короля ударил обидчика в ухо. Инцидент, конечно, стал величайшим оскорблением для собравшихся, потому что король не только видел это, но и стерпел; более того, уже простил Рочестеру безобразие, потому что сегодня утром вышел на прогулку в сопровождении нескольких господ, одним из которых был все тот же Рочестер; таким образом, сам король, водясь с этим грубияном, покрыл себя несмываемым позором; а как воспринял происшедшее Том Киллигрю, я не знаю.

О том, что Рочестер в ходе этого инцидента был пьян, нам известно из письма леди Сандерленд:

Драчливая выдалась неделя; дошло до того, что лорд Рочестер, забывшись, ударил Тома Киллигрю в присутствии короля. Конечно, он был в таком состоянии, что ничего не соображал, но появляться при дворе ему отныне запрещено.

Нападение на Киллигрю было неосторожно глупым, потому что тот, можно сказать, имел на свое шутовство августейшее благословение. Причем на шутовство не только на сцене, где его пьеса «Женитьба приходского священника» по праву слывет одной из самых смешных и вместе с тем одной из самых непристойных комедий эпохи Реставрации, но и при дворе. Здесь он порой впадал в нравоучительство — что при общении с любым другим королем могло бы обернуться для самого ментора серьезными неприятностями. Пинкетмен описывает, как «король Карл II, бражничая с лордом Рочестером и другими аристократами, повеселился уже большую часть вечера, когда, ближе к полуночи, появился Киллигрю. "Ну вот, — сказал король, — сейчас нам расскажут, какие мы пакостники". — "Отнюдь, — возразил Киллигрю. — К чему мне повторять то, о чем и так твердит весь Лондон?"»

Элементарная осторожность должна была бы подсказать Рочестеру отсидеться какое-то время в деревне, но осторожность ему претила — и вот, судя по письму, датированному 11 марта, он опять попал в переделку. Его друга Сэвила посадили в Тауэр за то, что тот вручил сэру Уильяму Ковентри вызов на дуэль от герцога Бекингема. «Во вторник вечером, — сказано в письме, — герцог Ричмонд и Джеймс Гамильтон поссорились после доброго ужина в Тауэре в обществе сэра Генри Сэвила. Они выбрали себе секундантов, но генерал, вызвав стражу, взял с них слово чести не проводить дуэль. Замешан оказался в эту историю и граф Рочестер, намеревающийся после недавнего позора при дворе уехать на какое-то время во Францию».

Рочестер и впрямь последовал чьему-то «трезвому совету» и уже в течение ближайших десяти дней убыл на континент, успев перед этим торжественно попросить прощения у Гарри Киллигрю за афронт, учиненный его отцу[35].

Принято считать, что Рочестер уехал во Францию, попав у короля в немилость, и сам Карл с удовольствием поддерживал всеобщее мнение, потому что проступок Рочестера, разумеется, нельзя было оставить безнаказанным; однако эта опала была мнимой. Ссора в Тауэре разразилась 9 марта, а тремя днями позже Карл написал из Ньюмаркета своей сестре герцогине Орлеанской:

Предъявитель сего письма, лорд Рочестер, вознамерившись совершить поездку в Париж, не осмелится подойти поцеловать тебе руку, не имея при себе письма от меня; отнесись к нему, пожалуйста, как к человеку, о котором я придерживаюсь самого высокого мнения; ты увидишь, что он остроумен и умеет себя вести, а также доказал свою храбрость в ходе войны с голландцами, на которую пошел добровольцем.

Прошло пять лет с тех пор, как Рочестер в последний раз «целовал руку» герцогине Орлеанской, «дражайшей сестре» Карла, которую английский король любил сильнее, чем всех своих фавориток вместе взятых. На следующее лето ей предстояло приехать в Англию на заключение англо-французского союза против Голландии, известного как «Traite de Madame»[36]. А еще тремя с небольшим неделями позже ее найдут мертвой и в этом убийстве заподозрят ее мужа, герцога Орлеанского. Ее личное посольство при дворе брата возглавляла Луиза де Керуаль, будущая герцогиня Портсмут, которой позднее удалось выжить саму леди Каслмейн. Бернет описывает сестру Карла как «женщину большого ума и чрезвычайной любезности, однако легко приходящую в ярость, едва ей покажется, будто ее обманывают». Рочестер, узнав о ее смерти, напишет жене прочувствованно, хотя и не без легкого сарказма: «Самая горькая утрата и для Франции, и для Англии с тех пор, как терять особ королевской крови вошло в моду».

Пребывание Рочестера во Франции не свелось к пустому времяпрепровождению, хотя, судя по отчетам английского посольства, он старался не привлекать к себе повышенного внимания.

1 мая Уильям Первич, британский агент в Париже, написал сэру Джозефу Уильямсону: «В понедельник французский двор отправился в Сен-Жермен, где король устроил общий смотр войску, включая полевую артиллерию; на обратном пути оттуда лорд Рочестер, будучи ограблен в карете, лишился суммы примерно в двадцать пистолей и парика».

Еще один инцидент в Париже демонстрирует нам личную храбрость Рочестера, позднее в том же году поставленную под сомнение насмешками лорда Малгрейва. Одновременно с Рочестером в Париже находился лорд Кавендиш, будущий герцог Девоншир. 21 августа 1669 года сэр Джон Клейтон написал сэру Роберту Пестону, что, «как сообщает лорд Кавендиш, он получил семь опасных для жизни ран в стычке, вспыхнувшей в театре на представлении "Скарамуша"; его единственным спутником был лорд Рочестер; как утверждается, сам Кавендиш убил двух французов. Эта история слишком длинна, чтобы пересказывать ее Вам во всех подробностях, и настолько противна, что Вы наверняка не слышали ничего подобного; однако англичане предстают в ней в весьма выигрышном свете. Король Франции настолько взбешен, что собирается вздернуть всех уцелевших участников этой стычки с французской стороны, общим числом в шесть или семь человек».

Лорд Кавендиш оправился от ран; да и «с французской стороны» потерь, как выяснилось позже, не было. Посол написал лорду Арлингтону:

Король бросил за решетку наглецов, напавших на лорда Кавендиша и лорда Рочестера; он гневается на них — и все они в лучшем для себя случае лишатся занимаемых должностей. Однако их друзья обратились ко мне с просьбой заступиться за зачинщиков и участников побоища, аналогичное пожелание высказал и лорд Кавендиш, поэтому я обратился к Его Христианнейшему Величеству с просьбой помиловать их, поскольку оба англичанина уже получили полную сатисфакцию. Король, в свою очередь, поведал мне о том, как он удручен

самим фактом нападения офицеров собственной армии на иностранцев и, главное, англичан, не говоря уж о том, что англичане эти — люди столь высокого звания. Так или иначе, мне кажется, через несколько дней их помилуют.

В Англии Элизабет ждала первого ребенка. Из предполагаемой переписки с находящимся на континенте мужем до нас дошло его короткое и холодное парижское письмо, датированное 22 апреля 1669 года:

[Мадам], я был бы чрезвычайно рад получить хоть какие-то сведения о состоянии Вашего здоровья. Но поскольку и в этой малости мне до сих пор отказано, могу лишь заверить Вас в том, что от всей души желаю Вам всего доброго, и молюсь за Вас, и уповаю на то, что мои молитвы достигнут Небес — и Вам не будет отказано в том, чего я для Вас и прошу, — то есть в счастье.

По мере приближения срока родов Рочестер начал готовиться к возвращению на родину; он испросил у статс-секретаря Арлингтона разрешения на это, но не напрямую, а воспользовавшись посредничеством английского посла, написавшего 15 июля своему министру:

Причина приезда лорда Рочестера во Францию, как мне представляется, небыизвестна Вашей светлости; что же касается его предстоящего возвращения в Англию, то ничто иное не нужно ему так, как благословение и милость Вашей светлости; меж тем он продолжает жить здесь скромно, как и жил с самого приезда, однако успел проявить целый ряд достоинств, которые наверняка превратят его в желанного гостя повсюду, куда ему вздумается направиться.

Похвала чужой скромности в письме посла, уже вознамерившегося соблазнить леди Сассек в ходе ее пребывания в Париже и вскоре успешно реализовавшего это намерение, «к вящему изумлению и негодованию французского двора» (как написал Сэвил Рочестеру), звучит, пожалуй, несколько двусмысленно.

30 августа крестили Анну, старшую дочь Рочестера, и есть все основания предполагать, что к этому времени он уже вернулся в Англию.

3

В конце ноября разыгралась странная история несостоявшейся дуэли с графом Малгрейвом, категорически подорвавшая репутацию Рочестера как отчаянного смельчака, хотя и трудно понять почему.

Малгрейв был столь же молод, как сам Рочестер, ему не исполнилось еще и двадцати трех лет, но его непомерная гордыня уже успела стать при дворе притчей во языцех. Рочестер впоследствии заклемит его в образе некоего Монстра Спеси; характерны и насмешливые прозвища «Его Высокомерие» и «король Джон». В своих «Записках секретного агента» Джон Мэки описывает Малгрейва, каким тот стал в расцвете лет:

Отменно образованный аристократ и с немалыми способностями от рождения, однако совершенно лишенный нравственных принципов. Истоиво ратуя за дело католицизма, сам он заглядывает в церковь только изредка. Чрезвычайно горд, деятелен и коварен; не брезгует никакими средствами. Не любит платить по счетам; не пользуется ни уважением, ни симпатией; вопреки его вечному стремлению стать важной персоной при дворе, слывет полным ничтожеством в обеих палатах парламента, да и во всей стране.

Внешность Малгрейва Рочестер описал так (а ведь следует учесть, что любая карикатура должна иметь сходство с оригиналом, иначе она просто-напросто бьет мимо цели):

Хром, пучеглаз, — и вечно красный нос

На грубой роже скотника возрос;

Дыханьем смрадным низенький пузан

Равно разит — и трезв когда, и пьян.

«Монстр Спеси», Джон, граф Малгрейв[37]

Что же касается ненависти, испытываемой Малгрейвом к Рочестеру, то она пережила свой объект, и Малгрейв откликнулся на смерть соперника двойным оскорблением, заведя чуть ли не на поминках речь о «тошнотворных виршах покойного ренегата».

Вечером 22 ноября при дворе стало известно о «любезностях», которыми один граф обменялся с другим, и тут же были предприняты меры по предотвращению возможной и вроде бы неизбежной дуэли. Однако ни одного из предполагаемых дуэлянтов не удалось найти по месту жительства, да и вообще их обоих как будто след простыл. Малгрейв, как выяснилось, проводил время вместе со своим секундантом в таверне у Найтсбриджа, где они выдавали себя за приезжих, однако были опознаны трактирщиком. Малгрейв в мемуарах дает собственную версию событий следующего дня, а относительно причины ссоры пишет лишь, что ему передали, будто граф Рочестер «сказал обо мне в своей всегдашней манере нечто весьма неприятное».

Договорились о конном поединке, и Рочестер сказал секунданту Малгрейва полковнику Эстону («человеку весьма ретивому»), что его собственным секундантом будет некий Джеймс Портер. Но прибыл он к месту дуэли не с Портером, а с «каким-то странствующим кавалергардом, которого никто из нас до тех пор и в глаза не видывал. И тут мистер Эстон проявил не свойственное ему, как правило, благоразумие: увидев, как мощно вооружен и экипирован противник, тогда как у нас, кроме пары седел, ничего не было, он предложил биться в пешем строю — и это предложение было принято». Затем Рочестер отвел Малгрейва в сторонку и

...сказал мне, что он чувствует такую слабость, что вообще не может драться, не говоря уж о том, чтобы драться в пешем строю. Мой гнев на него к этому времени уже прошел, так как я успел убедиться в том, что он на самом деле не говорил облыжно приписанных ему неприятных слов, но все же я позволил себе обратить его внимание на то, какими насмешками будет встречена эта история, если мы просто разойдемся, так и не сразившись, и предложил ему поэтому — в интересах нас обоих, но прежде всего в его собственных — переменить уже принятое было решение, потому что в противоположном случае мне придется ради спасения собственной чести рассказать людям всю правду, в результате чего пострадает его честь. Он ответил, что его это не смущает.

Малгрейв — со злорадством, кое-как замаскированным под объективность, — добавляет, что эта история «полностью уничтожила его репутацию непревзойденного смельчака (чему я, к сожалению, был причиной), до той поры приравненную к его славе великого остролова; меж тем эта репутация служила ему прежде хорошую службу, выручая его во множестве случаев,

подобных этому, когда обиженные им люди, знай они о тайной трусости своего обидчика, обязательно спросили бы с него со всей строгостью».

Каких-либо примеров, подтверждающих последнее из брошенных Малгрейвом вдогонку Рочестеру обвинений, до нас не дошло; напротив, известен как минимум один более поздний случай, когда уже назначенная дуэль не состоялась отнюдь не по вине Рочестера. Факты таковы: Малгрейв согласился на поединок в конном строю и прибыл на место дуэли плохо экипированным. Это позволяет заподозрить его в тайном умысле заставить Рочестера биться спешившись. Замысел Малгрейва принес ему успех, потому что драться пешком Рочестер действительно не мог, будучи на самом деле болен: туманным словом «слабость» здесь обозначен сифилис, который Рочестер при всей скромности своей тамошней жизни подцепил в Париже. Лишь за месяц до несостоявшегося поединка его лечили ртутью в «ваннах» мисс Фокар в Хаттон-Гардене.

Ссору в те дни было проще всего разрешить кровопролитием, и явно недостойное завершение событий 23 ноября оставило обе стороны конфликта без сатисфакции. Соответственно, и возненавидели они друг друга еще сильнее, что десятью годами позже прорвалось в «Эссе о сатире» Малгрейва; причем вовлечены оказались как приятельствовавший с Малгрейвом Драйден, так и друг Рочестера Сэвил, предпринявший в декабре 1674 года попытку взять поводья вражды в свои руки.

Вечером в воскресенье король ужинал у лорда-казначея, и Гарри Сэвил, будучи сильно пьян, обрушился на присутствовавшего там же лорда Малгрейва с такими нападками, что король приказал ему покинуть собрание. Тем не менее Малгрейв наутро прислал с лордом Миддлтоном вызов Сэвилу, секундантом которого стал Рочестер. Обошлось без кровопролития, однако Д. [Денби] заинтересовался происшедшим и посоветовал королю впредь не допускать Сэвила до себя.

V

Поэт и король

1

[38]

Столкновение с Малгрейвом и лживые слухи о трусливом поведении Рочестера во всей этой истории наверняка стали последней каплей, и поэт окончательно рассорился с миром. Мир презирает поэта? Вот и отлично, а сам поэт презирает мир. Ответом сочащейся злобой молве становится сочащееся злобой перо.

Несносен я; несносен буду впредь —

Не мне себя, а вам меня терпеть!



Ненависть обострила ум, пуританское наследие матери придало творчеству нравоучительный раж или, если угодно, нравоучительный кураж, а собственная жизнь подсказала ему слова — слова из кабаков и притонов Ветстоун-парка, — слова, каких до тех пор в серьезной литературе почти не слышали.

В Лондоне Стюартов с его жалкими улочками, в парламенте Стюартов с его жалкими умами поиски предмета сатиры не представляли труда. Все здесь дышало пороком, некомпетентностью и внешним уродством. С патриотическим пылом добровольца, ставшего свидетелем и участником поражения и бегства флота при Даунсе — поражения, обусловленного тем, что на кораблях был недобор экипажа, а простые матросы разве что не умирали с голоду, — Рочестер обрушился на королевских фавориток, бессовестно сосущих и деньги из казны, и жизненную энергию из монарха; прошло совсем немного времени — и поэт взялся за самого Карла:

Карл Праведный, уже Второй,  
Вершитель Реставрации,  
На царство призванный герой  
Парламента и Нации,  
С собой в согласие, с Богом в споре,  
В Содоме правит и в Гоморре!

За это стихотворение — «Историю безвкусицы» — Рочестера отлучили от двора, но это была еще не самая грубая (хотя, бесспорно, и самая остроумная) антимонархическая инвектива.

Скандално нищ и все же вечно в духе,  
От шлюхи Карл шарахается к шлюхе.

Не нам, но Казначейству дорогой:  
В одной руке Держава, х.й — в другой!

Прибытие Карла II в парламент: "В одной руке Держава, х.й — в другой!"[39]

Путь королевских услад Рочестер отслеживал с брезгливостью матери-пуританки и невольной завистью отца-гуляки — и это была адская смесь!

Давным-давно известны мышеловки

Бесхитростной, но верной изготовки:

Силок расставишь и разложишь блядь,

Король английский — глядь и сразу хватать!

При любом другом монархе поэтическим выходкам Рочестера был бы положен скорый конец, но во дни Карла остроумием можно было искупить даже государственную измену. Издевательство над королем и его фаворитками (именно за что сэру Джону Ковентри некогда отсекали нос) не раз и не два оборачивалось для Рочестера недолгим (на пару недель) отлучением от двора. Взаимоотношения короля с поэтом складывались причудливо. Чуть ли не до самой смерти Рочестера, не перестававшего поносить Карла, тот осыпал его милостями. Поэт был при Карле чем-то вроде средневекового шута, дерзющего господину и получающего в ответ то золотые монеты, то затрешины (хотя, бывает, и кандалы). Гамильтон утверждает, что Рочестера отлучали от двора ровно по одному разу в год. Должно быть, это комическое преувеличение, но более или менее достоверно известно о трех случаях мимолетной опалы — и каждый раз поэта карали за стихи о короле и его очередной фаворитке.

Чем поэт был обязан Карлу? Список королевских благодеяний длинен. В 1664 году Карл порекомендовал Элизабет Малле предпочесть Рочестера прочим претендентам на ее руку; на следующий год он выдал ему как участнику Бергенского похода семьсот пятьдесят фунтов. В 1666 году назначил его постельничим с жалованьем в тысячу фунтов ежегодно, в 1667-м ввел его в Палату лордов, хотя Рочестер еще не достиг совершеннолетия. В феврале 1668 года назначил распорядителем королевской охоты в графстве Оксфорд, и уже в апреле Рочестер подал прошение о единовременной денежной выплате в целях учреждения четырех постов окружных приставов в Уитлвуд-Форесте. В 1673 году ему были пожалованы — на равных правах с Лоуренсом Гайдом (еще одним постельничим) и главным королевским сводником Уильямом Чиффинчем (королевским кастеляном) — угодье Бествуд и четыре луга под Лентон-Мид в Ноттингемшире с тем, чтобы они впредь пользовались ими сообща за чисто символическую плату в пять фунтов в год; «в знак королевской милости и в награду за неоднократно оказанные каждым из получателей услуги престолу». В 1674 году Рочестера назначили королевским хранителем и распорядителем Вудсток-парка, предоставив ему в качестве резиденции особняк Хай-Лодж. (Последнюю из вышеперечисленных милостей следует, наверное, назвать во многих отношениях самой значительной, сопоставив ее при этом с соответствующим назначением лорда Лавлейса в 1670 году. С этих пор Рочестер попеременно коротал летние месяцы то в Эддербери, то в Вудстоке, и как раз в Хай-Лодже он испустил дух на громадном мрачном ложе, которое затем долгое время демонстрировали посетителям.)[40]

В апреле следующего года Рочестер вновь делит честь высокого назначения с Чиффинчем: после отставки сэра Алена и сэра Питера Эпли именно они становятся королевскими сокольничими. 23 июня королевским указом Рочестеру передают на сорок один год особняки Туикнем и Эдмонтон, Ист-Дипинг и Вест-Дипинг в Линкольншире и Черси. (Через три дня после этого указа Рочестер, напившись, разбил редкие часы в Тайном саду.)

Труднее понять, чем король был обязан Рочестеру, понять, что именно заставило Карла так долго терпеть совершенно неподобающее отношение к собственной августейшей особе. Не исключено, что единственным объяснением следует признать бесконечный цинизм самого монарха. Тот цинизм, о котором пишет Бернет:

Ни одного мужчину он не считал честным человеком, ни одну женщину — порядочной по

природе своей; если же они порой и проявляли соответствующие душевные качества, то причиной тому были, на его взгляд, недостаток темперамента или тщеславие. Никто, полагал король, не служит ему по зову сердца, и поэтому он считал себя обязанным расплатиться с миром той же монетой и не любил людей в той же мере, в какой, как ему казалось, люди не любили его.

Расплатиться с миром той же монетой — так мог бы выразиться, имея в виду себя, и Рочестер, — однако здесь имелось одно существенное различие. Рочестер оставался идеалистом. Он ценил и любил в других людях высокую мораль, которой не хватало ему самому; важно было для него и идеальное устройство государства, а вот Карл в этот идеал никак не вписывался.

Лишь изредка на наших глазах вспыхивают искры симпатии поэта к Карлу Стюарту как к человеку, который любил музыку и был способен оценить хорошую шутку. «Лучшим подарком на сегодня, — написал Рочестер Сэвилу, — будет податель сего письма; я прошу тебя позаботиться, чтобы король в свободную минуту непременно послушал, как он поет, потому что королю наверняка понравятся его песни». И действительно, как сообщает Сэвил, Карл «выслушал новые сочинения Пезибля с превеликим удовольствием, равно как и твои комплименты, переданные ему через меня, хотя, по-моему, скучает он не столько по твоим приветам, сколько по твоему обществу». Бернет выразился несколько иначе: «Король любил общаться с Рочестером, потому что скучать в такой компании ему не случалось, но самого Рочестера не любил. И эта неприязнь была взаимной; Рочестер отомстил королю множеством эпиграмм».

Современники нередко страдают куриной слепотой. Рочестер был для Карла сводником (по его собственному утверждению) и шутком, но трудно поверить в то, что они не испытывали друг к другу определенной симпатии. Рочестер не только дерзил королю, но и, бывало, заступался за него, как в случае со знаменитой «преждевременной эпитафией»:

Умер великий король, умер трижды великий обманщик;

Гадостей не говорил и не делал не гадостей он,

на которую он возразил как бы от имени самого Карла: «Лишь за слова отвечаю; дела совершают министры». Еще один случай подобного — скорее лестного королю, чем оскорбительного для него — шутовства описан Хирном.

«Король Карл II, герцог Йорк, герцог Монмут, Лорендайн и лейб-медик Фрезье, собравшись вместе, были по требованию короля описаны также присутствующим Рочестером в шутливом экспромте:

Монмут — ключарь дворцовых тайн,

Неотразимый Лорендайн,

Фрезье — святой целитель,

А также тут как тут

Сам Йорк — придворный шут,

И мудрый наш правитель».

Из цикла «Лондон и Вестминстер»[41]

Смысл шутки Хирн раскрывает в подстрочных примечаниях, согласно которым Монмут был «круглым идиотом», Лорендайн — «уродцем и калекой», Фрезье — «явным шарлатаном», герцог Йорк «отличался всегдашней угрюмостью», а король — «небрежением делами государства». А в фольклорной антологии XVIII века находим стишок, приписываемый Рочестеру. В нем и впрямь есть нечто простонародное; Рочестер из Эддербери умел писать и так:

Подпись под портретом короля Карла II:

Джон Робертс я, мастеровой,

А перед вами мой герой —

Хозяин моего хозяина

Король английский Карл Второй.

В книге, озаглавленной «Письма Уоллера Сент-Эвремону», описана сценка, в которой остроумие Рочестера искрится максимальным для такого желчного человека дружелюбием, побуждая Карла Стюарта перейти от усталой ярости к бесшабашному веселью. Конечно, аутентичность писем Уоллера более чем сомнительна, однако это далеко не обязательно означает, что история выдумана от начала до конца; в иных словечках и целых предложениях чувствуется самый настоящий Рочестер.

Прошлым вечером я ужинал у лорда Рочестера в весьма изысканной компании; в таком обществе он, как правило, стремится не столько блеснуть умом, сколько проявить свое обаяние; ведет он себя при этом несколько церемонно, но сама эта сдержанность способна очаровать сильнее, чем бурные проявления таланта со стороны его собеседников... Приятная атмосфера царила на протяжении всей трапезы — и не омрачилась, даже когда, ближе к концу ужина, внезапно появился король. «Что-то его рассердило, раз уж он здесь, — вполголоса заметил Рочестер. — Он оказывает мне подобную честь только в крайнем раздражении».

Прочитируем по книге якобы воследовавший диалог:

Король:

Какого черта я сюда приперся?

И как дошел? Рабы украли плащ.

Мне не в чем оказалось выйти из дому.

Рочестер:

Рабы — глупцы. Плащ — вещь необходимая.

А нездоровье Вашего Величества,  
Случись оно, ударит и по ним.

Король:

Апчхи!.. Я зол.

Рочестер:

А я, напротив, рад.  
Такой сюрприз! Я ненавижу скуку.  
Такая честь! И Вы ведь никогда...

Король:

На неискоренимое злодейство  
Мои способны подданные...

Рочестер:

Сир!  
Позвольте возразить как патриоту...

Король:

А королем будь, ты бы возразил?

Рочестер:

Будь королем, я и не стал бы править!

Король:

Как так?

Рочестер:

Я бы Рочестера призвал

И передал ему бразды правленья.

Король:

От скромности Рочестер не умрет!

Рочестер:

Сир, Вашему я следую примеру...

А у меня под властью расцвели б

Две главных добродетели земные.

Король:

Догадываюсь... Но какие все же?

Рочестер:

Повальным стало пьянство б, свальным — грех.

Король:

Сир, в сущности, я только так и правлю.

Рочестер:

Развеселится мир в единый миг,

А значит, воцарится добродетель!

Епископ Солсберийский подтвердит.

Король:

Он нынче ночью умер... На сию

Вакансию ты тоже претендуешь?

Рочестер:

С одним условием: службу не служить

В январский предпоследний день и в майский

Предпредпоследний...[42]

Король:

Странные условия.

Еще я понимаю про январь —

Прискорбный день, — а вот про май...

Рочестер:

Поверьте,

Прискорбным станет тоже.

Король:

Это слишком!

Рочестер:

Поверьте, сир, я дело говорю!

Такую дату праздновать не в церкви,

А там, где добродетели двойной

Воздать возможно блудом и пианством!

Король:

Воистину счастливый человек!

Рочестер, друг мой, будь я трижды проклят,

Когда б я не завидовал тебе!

Отметим здесь чисто рочестеровское: «Я ненавижу скуку».

Тот факт, что король самое меньшее однажды нанес визит Рочестеру и «изрядно повеселился» у него, общеизвестен. В феврале 1677 года лорда Бекингема вместе с Солсбери, Шефтсбери и Уортоном заточили в Тауэр. Они требовали, чтобы парламент был более чем на год распущен по королевскому указу, и, когда это требование было отвергнуто, отказались извиниться перед королем и обеими палатами. Это была весьма несимпатичная история. Король Франции Людовик, тайный союзник Карла, подкупил Бекингема и Шефтсбери ради того, чтобы они добились роспуска парламента, с трибуны которого лорд-казначей Денби пообещал королю изыскать необходимые средства в том случае, если тот полностью порвет с французами. Карл, сидя на двух стульях, без малейшего удовольствия наблюдал за тем, как его же собственный министр отправляет в темницу его друзей-аристократов. Стрелка компаса не может указывать сразу в две стороны. Как следствие этого, король созвал остатки «развеселой шайки-лейки», и 2 августа У. Фолл написал сэру Ральфу Вернею, бывшему наставнику Рочестера:

Весь Лондон застыл в ожидании того, что герцогу Беку вот-вот вернут былую милость, назначив его лордом-камергером вместо герцога Ормонда; но при дворе об этом пока помалкивают, разве что Его Священное Величество и Его Высочество (как я слышал) изрядно повеселились однажды вечером в гостях у лорда Рочестера, которому, как я догадываюсь, Бек и будет обязан снятием недавней опалы...

А в письме сэру Эдуарду Харли от 7 августа Эндрю Марвелл вновь заводит речь о влиятельности самого Рочестера и людей его круга:

Герцог Бекингем подал жалобу только на затянувшееся заточение, приносящее ему множество неудобств, и попросил месячного отпуска из темницы. Предполагалось, что проведет он его в Нелли, Миддлэссекс. Однако Рочестер и развеселая шайка-лейка без труда добились для него бессрочного освобождения. После чего Бекингем поселился в Уайтхолле у Рочестера и возобновил всегдашние бесчинства. Герцог Йорк, лорд-казначей и, как мне сказали, герцог Монмут в возмущении обратились к королю со встречной жалобой, утверждая, что тем самым оказались нарушены мало-мальские приличия и был грубо погран авторитет самого монарха, однако Карл если уж возьмется осыпать кого-нибудь милостями, то нескоро это дело оставит. Тем не менее возникло острое противостояние между государственными министрами и «министрами удовольствий». В конце концов Бекингему велели покинуть Уайтхолл. Он повиновался — и тут же подал новую жалобу, куда более развернутую, чем петиции Солсбери и Уортона. Однако вчера, как я слышал, ее, придравшись к какому-то пункту, отклонили.

Если не считать истории, в которой Рочестер выступил против парламентского билля, лишаящего герцога Йорка прав на престолонаследие, перед нами единственный случай его участия в политической жизни страны. Участия, как это было принято у «развеселой шайки-лейки», при свете свечей за уставленным бутылками столом.

Во взаимоотношениях с королем сквозила едва ли не основная черта поэтической натуры Рочестера. Подобно тому, как воздушный гимнаст боится себя эластичной сеткой если не от падения, то от его результатов, Рочестер вновь и вновь добивался королевских милостей, отчаянно лицедействуя. Тут можно вспомнить и его отца: надев парик и перейдя в разговоре на французский, тот полагал, что его уже никто не узнает, но, едва пригубив вина, с гордостью отрекомендовывался собутыльникам своим настоящим именем. Точно так же и Рочестер-младший то и дело входил в образ трактирщика с Ньюмаркет-роуд, горожанина из Сити или лекаря-шарлатана, продающего свой товар на Тауэр-Хилл. И выдавала его всякий раз подчеркнутая серьезность лицедейства: ньюмаркетская история обернулась трагедией, «горожанин из Сити» обрушился на придворные нравы безошибочно опознаваемым голосом самого Рочестера, «лекарь-шарлатан» не столько рекламировал свой товар, сколько осмеивал потенциальных покупателей. В этих приключениях (не меньше, чем в сатирических стихах) перед нами предстает оскорбленный в лучших чувствах — прежде всего собственным



поведением — пуританин; человек, ненавидящий чужие пороки и вполне способный стать вторым Джоном Донном — противоречивым и страстным поэтом-метафизиком, — живи он не в то время, когда все зачитывались Томасом Гоббсом и пренебрегали традициями государства, за которое сложили голову герои былого.

2

Точная датировка этих отчаянных попыток Рочестера развеяться столь же загадочна, как побудительная причина каждого из эпизодов и его достоверность. Ньюмаркетская история основывается исключительно на свидетельстве «Сент-Эвремона», однако не кажется столь уж невероятной. Бернет о ней не пишет, но он и вообще не вдаётся в подробности, рассуждая о любви Рочестера ко всевозможным переодеваниям. «Пробыв при дворе совсем недолго, он проявил вкус к различным экстравагантностям и грубому непотребству, занялся бесчинствами, какие может подсказать лишь самая необузданная фантазия: он выходил на улицу в нищенских лохмотьях, предавался любви в одежде простого грузчика, выступал на сцене в шутовском наряде...»

Кабак семнадцатого века[43]

Ньюмаркетская история гласит: Бекингем и Рочестер, попав в мимолетную опалу при дворе в одно и то же время, стали владельцами кабака на Ньюмаркет-роуд. Кабак этот краевед Гор идентифицировал (не знаю, на каком основании) как «Зеленую клячу» в Сикс-Майл-Боттом. Кабатчики наливали щедро и не требовали с посетителей денег, так что весь местный люд устремился сюда угоститься на дармовщину, причем семейные люди приходили, как правило, парами. Пока мужья напивались, Рочестер и Бекингем забавлялись с их женами. Лишь один старик, женатый на юной красавице, каждый вечер приходил в кабак в одиночестве, оставляя жену на попечение собственной сестры — особы так же весьма пожилой. Трудность завоевания этого трофея только подхлестнула интерес Рочестера. Однажды вечером, попросив Бекингема попотчевать старика лично, граф переоделся в женское платье и отправился на дом к красотке. Открыла ему старуха, и Рочестер вручил ей бутылку, которую якобы прислал любимой сестрице из кабака старик. Не успела она как следует приглядеться к «гостю», Рочестер, побледнев, рухнул в притворный обморок. Две женщины перетащили его на второй этаж, положили в постель и напоили его собственным напитком, а было это вино пополам с настойкой опия, так что, когда женщины приложились к бутылки сами, старуха сразу заснула, а красавица принялась жаловаться на мужа, который, мол, не будучи в силах ублажить ее сам, ведет себя как собака на сене и не выпускает ее на улицу. Поняв из этого рассказа, что сопротивления он здесь не встретит, Рочестер оставил маскарад и приступил к делу. После бурных объятий он убедил неверную отправиться в кабак вместе с ним; причем красотка для начала вскрыла шкатулку мужа и забрала все его сбережения. По пути в кабак, проходя полем, они заметили возвращающегося домой мужа и, прячась от него, упали в траву. Старик прошел буквально в двух шагах от них, однако ничего не заметил; веселая парочка же, решив не подниматься, пока он не скроется из виду, воспользовалась вынужденной паузой для новых любовных утех. Когда они наконец попали в кабак, Рочестер передал красотку Бекингему, но вся эта история им надоела, и они отправили беглянку в Лондон, наказав найти себе муженька помоложе. Обманутый же старик, обнаружив, что и жена, и деньги пропали, повесился у себя в спальне. Вскоре после этого король со свитой посетили кабак, направляясь в Ньюмаркет; Бекингем и Рочестер были разоблачены, но искупили вину веселым рассказом.

Ньюмаркет и вообще славился веселым времяпрепровождением; об этом городе слагали легенды. Иностранцы наблюдатели не без изумленного трепета следили за тем, как развлекается двор, наведываясь сюда, бывало, по три раза в году, и отмечали, что «в здешних конюшнях стоят статуи, а потолок и стены расписаны фресками... лошадей кормят свежими, только что из-под несушки, яйцами и испанским виноградом». Король садился в седло, как правило уже не держась на ногах, по дороге напивался окончательно и приглашал к себе на ужин жокеев, заставлял музыкантов исполнять песни самого срамного свойства или наблюдал, как лорд Дигби со скоростью пять миль в час шагает по вересковым полям, босой и практически голый.

В XVIII веке стихи Рочестера иллюстрировали скверными гравюрами, которые зачастую, как в этом случае, не имели никакого отношения к содержанию[45]

Теофил Киббер пишет, что именно в Ньюмаркете Рочестер, вступив в сговор с одной из фавориток короля, решил раз и навсегда отучить Карла от ночных вылазок «в народ»:

Рочестер уговорил короля отправиться с ним в широко известный дом терпимости, в котором, как он уверил монарха, обитают самые красивые женщины во всей Англии. Король без колебаний пошел с Рочестером, разумеется переодевшись и инкогнито. Получив от спутника тщательные инструкции, как вести себя со здешними красотками, Карл уединился с одной из них, а она (заранее подученная Рочестером) незаметно вытащила у него часы и все деньги. Причем ни она сама, ни кто-нибудь другой в публичном доме не знали и даже не догадывались, персона какого ранга (хотя бы приблизительно) осчастливила сей бордель визитом. Справив удовольствие, король осведомился о Рочестере, и ему объяснили, что «другой джентльмен» внезапно ушел, не попрощавшись и не расплатившись. Король полез в карман за деньгами и с изумлением обнаружил, что его обокрали.

Ему пришлось попросить у бандерши отсрочки до завтра, потому что уже ушедший «другой джентльмен» должен был заплатить за них обоих. Разумеется, короля подняли на смех: знаем мы, мол, такие фокусы. Бандерша объявила королю, что никуда не отпустит его, пока он не расплатится, и на всякий случай велела присматривать за ним одному из своих вышибал. Истожив запасы красноречия, король снял с пальца драгоценный перстень и предложил его бандерше в заклад, но она отказалась и от этого, объяснив, что не разбирается в камнях и поэтому никогда не принимает такие залого. Король предложил вызвать ювелира, чтобы тот оценил перстень, но ему ответили, что и это исключено: ни один ювелир не пойдет на вызов (и менее всего — в публичный дом) глубокой ночью. В конце концов Карлу удалось настоять на том, чтобы на дом к ювелиру отправили вышибалу — показать и оценить перстень. Когда ювелир увидел королевский перстень, у него глаза полезли на лоб, и он спросил у вышибалы, а кого они там, собственно говоря, принимают? Да вот какой-то сукин сын, урод и по всему виду мерзавец, отказывается платить и предлагает в заклад эту стекляшку, ответил тот. Этот перстень, сказал ювелир, является такой драгоценностью, что носить его на пальце может только один человек во всей Англии, и этот человек — король. Потрясенный происходящим, ювелир отправился в бордель вместе с вышибалой, чтобы увидеть все собственными глазами. Едва войдя в «залу», он рухнул на колени и торжественно вернул перстень Его Величеству. Бандерша и вышибала, сообразив наконец, кто перед ними, тоже опустились на колени и попросили прощения. Король, которого вся эта история изрядно позабавила, рассмеявшись, спросил у них, нельзя ли получить на сдачу с перстня еще одну бутылочку вина.

Если прощать выходки Рочестера и позволял Карлу собственный цинизм, то королевские фаворитки, будучи уязвлены поэтом, апеллировали к монарху, требуя наказания. Нелли Гвин дружила с Рочестером, а вот герцогиня Кливленд (перед тем, как расстаться с Каслмейн в 1670 году, король сделал ее герцогиней) и Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмут, с ним враждовали. Как утверждают, именно герцогиня Кливленд ударила Рочестера по уху, когда он попытался поцеловать ее — только что вышедшую из кареты, — и тут же была «вознаграждена» насмешливым экспромтом:

Сударыня! Я вами восхищен:

Как солнце, вы взошли на небосклон

И грохнулись с небес, как Фаэтон.

Из писем Рочестера Сэвилу за 1678 год видно, как настраивает против него короля герцогиня Портсмут: «Она обвиняет меня не в каких-то конкретных грехах, а в коварстве; я сказал ей, что этот навет напечатан ей кем-то куда коварнее, чем я»; и вновь, с нарастающим беспокойством: «Не знаю уж, как внушить самому себе — а уж тебе и подавно, — что г[ерцогине] не удастся рассорить короля со мной окончательно».

Но это была скорее жалкая компания королевских фавориток не первой молодости, каждая из которых и сама трепетала в ожидании того, как ее место займет юная соперница; разгульная жизнь и бесчисленные выкидыши и аборт изрядно поработали над их внешностью. Время было врагом могущественным и непримиримым, оно наносило удар за ударом: появлялись морщины, редели волосы, выпадали зубы, а безжалостное перо поэта фиксировало эти перемены с невозмутимостью умудренного жизнью газетчика.

Герцогиня Кливленд стала первой его мишенью:

Ее непросто описать —

Неописуемая блядь!

Не хватит этой проститутке

И сорока соитий в сутки!

Барбара Вильерс, герцогиня Кливленд, леди Каслмейн[46]

Дальняя родственница поэта и заступница за него в истории с женитьбой, она была вправе рассчитывать на снисхождение, но не дождалась его: Рочестер отслеживал и на свой лад воспевал все ее измены королю — с Монмутом и Кавендишем, с Хеннингемом и Скрупом, с

«пархатым Недом» и «мудилой Фрэнком».

Когда она утратит аппетит

И сам живот подскажет ей: «Я сыт!»

Безвкусна и бездонно аморальна,

Блудить она продолжит машинально.

Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмут, удостоилась следующей эпиграммы:

Увы! Красе ее порочной

Полезен элексир полночный.

Бальзам снаружи и внутри —

Лишь хорошенько разотри.

Луиза де Керуаль, герцогиня Портсмут[47]

Информацию он добывал, похоже, именно так, как это описывает Бернет:

Проводя разведывательную работу при дворе, он нанял стражника, знавшего в лицо едва ли не всех аристократов, чтобы тот на протяжении долгой зимы ночами напролет дежурил у дверей той или иной дамы, которая, как полагал Рочестер, в очередной раз пустилась во все тяжкие. Таким образом он сделал немало открытий и, собрав достаточно разоблачительного материала, удалился в деревню, чтобы в тамошней тишине разразиться новыми эпиграммами.

Фаворитки не могли чувствовать себя в безопасности. Помимо тройственного сражения — Кливленд против Портсмут и Время против них обеих — им приходилось постоянно помнить о бесцеремонном поэте: многоликий, как Протей, он сам не ведал и никому не давал покоя. Он исчезал из Лондона, но их собственные горничные рассказывали о грешках госпожи доктору на Тауэр-Хилл (а этим доктором оказывался переодетый Рочестер); он сидел в деревне, но его стражник дежурил у входа в покои, не говоря уж о том, что и друзья регулярно писали ему из дворца: «Леди Портсмут чрезвычайно серьезно больна. Король возлагает надежды на своего лейб-медика, а духовник герцогини — на Деву Марию, которой он клятвенно пообещал от имени духовной дочери в случае выздоровления не иметь больше никаких дел с заклятым врагом девственности и целомудрия королем Великобритании».

Так что на недостаток материала Рочестер пожаловаться не мог. И порой, нанося очередной удар, он применял не наполовину зачехленное оружие эпиграмм, которые могли ведь и не попасться королю на глаза, но, напротив, бил прилюдно и всенародно. В 1671 году при дворе давали «Императрицу Марокко» Илканаха Сеттла. Герцогиня Кливленд и без того находилась в пиковой ситуации. Ее положение двумя годами ранее изрядно пошатнула Нелли Гвинн, теперь же герцогиня предчувствовала окончательное фиаско, которое и произошло в самом

конце года в связи с выходом на амурную сцену Луизы де Керуаль. И вот без пяти минут целиком и полностью отставленная старая фаворитка, поневоле сидя рядом с куда более удачливыми соперницами, вынуждена была внимать тому, как леди Элизабет Говард декламирует пролог к пьесе, написанный Рочестером. Все держались друг с дружкой весьма учтиво, коготки были спрятаны (хотя и не убраны), и тем не менее герцогиня Кливленд не могла не осознавать иронию (а для себя — постыдность) происходящего. Пролог был адресован присутствующему на спектакле королю:

Сир! Исключительно для Вас

Предназначается рассказ

О том, что молодая статья

(Хоть самое меня и взять)

Достойна августейших рук.

Так оглянитесь же вокруг!..

Красавиц юных — пруд пруди,

И все взывают к Вам: приди!

Пускай старух ебет старик

(Приник, напрягся — и проник) —

Король-то молод и велик!

Юные красавицы рукоплескали этим стихам, но побежденная и увядшая (пусть далеко еще не старуха) леди Кливленд, не исключено, предпочитала куда более грубые вирши того же Рочестера, в которых поэт как минимум отдавал должное масштабам ее влияния.

Что избежит сатиры в наши дни?

Мои стихи самой судьбе сродни.

Вот сводник, вот предатель при дворе,

Но здесь никто не слышал о Добре.

В темницу попадает патриот,

Зато берут в министры сущий скот,

И сука с королевою сидит —

И ведь никто ее не устыдит!

Таков был суровый, но справедливый ответ Рочестера на вопрос, заданный главным героем

прозаической пьесы Шедуэлла «Печальные возлюбленные»: «Почему ты презираешь наше время? По-моему, любой должен позавидовать тому, кто живет в наши дни, полные пьянства и блядства без прикрас».

## VI

### Скандал в Эпсоме

1

Лекарь Александр Бендо, высокородный шарлатан[48]

Меж тем пять лет беспробудного пьянства неотвратимо неслись в сторону трагической кульминации в Эпсоме. Конечно, на протяжении всего этого периода имели место всевозможные ссоры и стычки, о которых нам практически ничего не известно, кроме сухих сведений, порой попадавших и в газеты; так, например, 25 марта 1673 года было напечатано, что «дуэль между графом Рочестером и лордом Данбаром предотвращена благодаря своевременному вмешательству граф-маршала». Пьяные скандалы вспыхивали куда спонтаннее и приводили подчас куда к более печальным результатам. 26 июня 1675 года в Эдинбург было отправлено письмо, в котором рассказывается, как «лорд Рочестер в состоянии сильного опьянения разбил вчера часы, установленные в Тайном саду и по справедливости считавшиеся самым редким экземпляром во всей Европе. Два обстоятельства мне неизвестны: накажут ли его за эту наглую выходку и разбились ли часы вдребезги (или подлежат починке)». О той же «наглой выходке» упоминает и сэр Фрэнсис Фейн-старший в своей антологии. Рочестер гулял в компании лорда Миддлэссекса, лорда Сассекса и Гарри Сэвила, причем «весь вечер они пропьянствовали с королем». Когда дебоширы, уже расходясь по домам, оказались возле часов, один из них воскликнул, перевирая Священное писание: «Погибли царства на моем веку и вам, часы, пора кончать ку-ку!» Общими усилиями они подняли часы в воздух, после чего швырнули наземь.

Юноша, двенадцать лет назад прибывший ко двору и очаровавший всех красотой, умом и ученостью, превратился в исчадие ада. Он своими сатирами доводил до слез королевских фавориток (всех, кроме простушки Нелли Гвин); сам король, пусть и восхищаясь остроумием Рочестера, устал уже быть мишенью его острот. На взгляд иного трезвомыслящего человека, вроде Ивлина, Рочестер был не более чем «грубым шутником», меж тем как грубость постепенно выходила из моды. В шестидесятые было самое время веселиться, а в семидесятые пришла пора серьезности. Сидли и Бакхерст, когда-то выскакивавшие голыми на кабацкий балкон, ударились в политику, даже веселый толстяк Сэвил стал послом. Друзья устали от Рочестера ничуть не меньше, чем он сам — от человечества в целом, а кое-кого из них (скажем, художника Гринхилла, спяну свалившегося в канаву, где он и умер) уже не было на свете. Болезнь вовсю подтачивала ум Рочестера, пусть и остававшегося по-прежнему, наряду и наравне с Драйденом, самым острым и адекватным критиком современности. Кто-то мог и дальше беспечно плясать на тонком льду, но только не Рочестер: он ни на мгновение не забывал о готовой разверзнуться бездне — ужасах некомпетентности и звериной жестокости, которыми был чреват исподволь подготавливаемый папистами террор. За исключением Бекингема и — в эпсомском скандале — Этериджа, собутыльниками Рочестера теперь стали какие-то подозрительные субъекты — некий капитан Бридж, некий Уильям Джемсон, некий Даунс.

Как раз эти трое были с ним и в Эпсоме летом 1676 года (именно в Эпсоме когда-то, в безоблачные дни, и держали «веселый дом» Бакхерст, Сидли и Нелли Гвин). 29 июня Чарлз Хэттон в письме к брату излагает историю от начала до конца:

Мистер Даунс мертв. В бега пустились лорд Рочестер, а также Этеридж и капитан Бридж, устроившие дебош в воскресенье вечером. Сначала они закатали каких-то скрипачей в скатерть за отказ играть им, а когда на шум прибежал цирюльник, они принялись его избивать, а он, чтобы освободиться, прибег к хитрости, пообещав отвести буянов к самой красивой женщине во всем Эпсоме, а на самом деле повел их к дому констебля. Тот спросил, что им нужно; они ответили, что пришли к шлюхе, а когда он отказался впустить их в дом, вломились без разрешения и основательно поколотили констебля, даже голову ему разбили. В конце концов ему удалось от них ускользнуть, и он позвал на подмогу стражников. Тут Этеридж внезапно стал сама любезность и произнес такую речь, что констебль своих помощников отпустил. И сразу же на него набросился лорд Рочестер. Констебль — опять бежать, но его сграбастал Даунс, тогда констебль закричал: «Караул!» — стражники с полдороги вернулись, и один из них дубинкой проломил череп Даунсу. Лорд Рочестер и остальные господа убежали, а Даунс, у которого и шпаги-то не было, схватил какую-то палку и принялся ею размахивать, его рубанули клинком по плечу, так что, не умри он в итоге, без руки бы остался точно.

Рочестер зашел слишком далеко. Какое-то время раздумывали, не отдать ли его под суд за убийство. Граф Англси написал Эссексу 27 июня, что Рочестера надо судить, а Джулия Арбор, обращаясь 1 июля к тому же адресату, заметила: «Вчера пэры судили лорда Корнуоллиса... Следующий на очереди лорд Рочестер». Однако суд над ним так и не состоялся; Рочестер пустился в бега, а ко времени возвращения король его уже простил.

Куда же скрылся Рочестер? В августе он появился в Эддербери, но к этому времени буря уже стихла. Скорее всего, в этот период он сыграл одну из лучших в жизни маскарадных ролей, выдав себя за лекаря-шарлатана и астролога на Тауэр-Хилл. О его приключениях в образе кабатчика мы знаем лишь со слов «Сент-Эвремона», тогда как историю «Александра Бендо» рассказывает такой надежный источник, как Энтони Гамильтон, пусть и включая в рассказ некоторые детали, связанные с другой историей, приключившейся с еще одним и, по-видимому, настоящим шарлатаном; приписываемая Рочестеру листовка, в которой рекламируется его дар целителя, опубликована уже в 1710 году в стихотворном сборнике Сидли, и, наконец, главным доказательством[49] аутентичности всего эпизода является упоминание его Бернетом:

Что касается прочих его занятий, то он читал сатирические и риторические произведения древних, прежде всего римских, и современных авторов и книги по медицине; последнее — все более уповая на самолечение по мере того, как болезнь подтачивала его силы, — что, однако, не помешало ему воспользоваться благоприобретенными знаниями при осуществлении дерзкой авантюры, которую я здесь только упомяну. Будучи вынужден скрываться в результате одного неприятного инцидента, он переоделся и загримировался так, что его и родная мать не узнала бы, и, усевшись на Тауэр-стрит, принялся выдавать себя за итальянского врачевателя; практиковал он несколько недель, причем не без успеха.

Вышеприведенный пассаж важен в деле уточнения датировки и общего смысла всей истории. Предполагалось, что причиной отлучения Рочестера от двора стала очередная сатира; в одном из его ранних сборников и впрямь находим стихотворный памфлет против короля и его фавориток, озаглавленный «Сатира на короля Карла II, за которую автор был отлучен от двора, вследствие чего ему пришлось заняться врачевательством на Тауэр-Хилл». Однако стихотворную сатиру вряд ли можно назвать «неприятным инцидентом», в результате которого ее автор был бы «вынужден скрываться». Правда, неприятным инцидентом вполне можно назвать историю, приключившуюся с другим стихотворением Рочестера: король попросил его сочинить экспромтом несколько строк в честь присутствующих дам, а поэт

разразился в ответ злобной эпиграммой на самого Карла. Скорее всего, это стихотворение «Сатира, извлеченная королем из авторского кармана», в котором, наряду с прочим, сказано:

Иди прочти про то, как Магомет —

Святой пророк, но вовсе не аскет —

Так возлюбил красавицу одну,

Что оказался у нее в плену

И все же, по призыву янычар,

Ей смертоносный сам нанес удар.

Но сатира, пусть и самая ядовитая, обернулась бы в худшем случае отправкой автора в деревню. «Неприятный инцидент» — это, скорее всего, гибель Даунса в Эпсоме.

Александр Бендо в своей «рекламной листовке» заявляет: «Все эти тайны я постиг за границей (куда я удалился в пятнадцатилетнем возрасте, тогда как сейчас мне двадцать девять), во Франции и в Италии». Общая завиральность листовки не помешала включению в нее нескольких достоверных автобиографических деталей. Рочестер и впрямь отправился за границу, во Францию и в Италию, в пятнадцать лет (точнее, в четырнадцать лет и семь месяцев), а если на момент маскарада ему было двадцать девять, значит, дело происходило в 1676 году — тогда же, что и скандал в Эпсоме.

И действительно, вполне вероятно, что, исчезнув из собственного дома в Лондоне, Рочестер «переоделся и загримировался так, что его и родная мать не узнала бы», чтобы вынырнуть на Тауэр-стрит «по соседству с черным лебедем, представляющим собой вывеску золотых дел мастера. И здесь с трех часов пополудни до восьми вечера» продавал мази и эликсиры, сулящие исцеление от «английской болезни, она же британское бедствие, сиречь цинга» и, главным образом, от всевозможных женских заболеваний. «Тошнота, слабость, раздражение или боли в желудке, почках, печени, селезенке и т. д. (Ибо в этой листовке вы не найдете ни единого слова, наводящего на непристойные мысли; достаточно и того, что вы поняли меня правильно; случалось мне читать прейскуранты иных докторов, сильно смахивающие на диалоги похабника Аретино; но ни один порядочный человек на это не купится)».

Лондонская проститутка[50]

К себе на Тауэр-Хилл Рочестер призывал не только больных. Кое-что он сулил и здоровым людям, особенно женщинам. Он был готов предсказывать будущее как по звездам, так и по устно изложенным ему сновидениям:

Что же касается астрологических предсказаний, физиономистики, истолкования сновидений и прочего (кроме хиромантии, в которую я не верю, потому что для нее не имеется никаких оснований), то я на собственном примере убедился в их замечательном эффекте и прямо-таки чудодейственных свойствах, особенно по части предсказания будущего, минимизации грядущих рисков и оптимизации возможных выгод. Повторяю, на собственном примере я убедился в этом куда тверже, чем изучив все устное и письменное предание; ибо, не боясь впасть в чрезмерное преувеличение (но ничего и не приуменьшая), отмечу, что мои



предсказания сбываются поразительно часто и оказываются в практическом смысле весьма полезными; причем я просто-напросто не решаюсь упомянуть на письме о подлинном масштабе моих дарований и возможностей в этой области.

Интересно, вспомнил ли Рочестер, сочиняя эти хвастливые строки, о том, как после поражения при Бергене безуспешно дожидался явления призрака Уиндема и как был разочарован, когда тот так и не появился, — разочарован настолько, что устои его собственной веры оказались поколеблены (потому что Уиндем не просто дал слово, но и поклялся на Библии), — хотя предчувствие скорой смерти и не обмануло обоих его соратников? Напирая на «собственный пример», он вполне мог бы вспомнить еще одну историю, позднее не без трепета поведенную им самим Бернету:

Он рассказал мне еще об одном сбывшемся предчувствии собственной смерти, свидетелем чему он сам стал в доме у леди Уорр, его тещи. Тамошнему капеллану приснилось, что он умрет в строго определенный день; он поведал окружающим о своих страхах — и все высмеяли это суеверие, так что в результате он и сам о зловещем сне, можно сказать, забыл. Однако прямо накануне объявленного срока, за ужином, выяснилось, что за столом сидят тринадцать человек; число это несчастливое, и кто-то сказал, что один или одна из присутствующих непременно умрет, — и сразу же одна из барышень, указав на священника, воскликнула: он! Капеллан, вспомнив о кошмарном сне, сильно расстроился, хозяйка дома вновь упрекнула его в суеверии; священник же ответил, что ничуть не сомневается в том, что не доживет до рассвета. Однако, поскольку он был человеком завидного здоровья, его словам не придали особого значения. Капеллан удалился к себе и долго сидел без сна (что определили позднее по нагару свечи), готовясь к утренней проповеди, а наутро его и впрямь нашли мертвым.

Во Вселенной, какой она виделась Гоббсу, зияли провалы; сомнения охватывали Рочестера, включая и сомнение в собственном атеизме, охватывали, даже когда он, облачившись в наряд шарлатана, сочинял рекламную листовку — в этой зазывной лжи таилась частица правды. Но Рочестер поспешил перейти от пророчеств к проблеме, которая волновала его куда больше, — к вопросам женского здоровья. Именно эти пункты листовки наверняка обеспечили ему более широкую клиентуру, чем все обещания искоренить цингу.

Те, кому доводилось странствовать по Италии, могут рассказать, какие чудеса творит там природа в деле сохранения красоты: сорокалетних матрон с виду не отличишь от пятнадцатилетних прелестниц. Итальянки берегут не только фигуру и осанку, но и лицо; тогда как у нас в Англии возраст лошади определяют, глядя ей в зубы, а возраст женщины — глядя ей в лицо. Я обещаю снабдить вас средствами, которые, не причиняя вреда вашей коже и естественному цвету лица (в отличие от применяемых вами румян и пудры), сделают их чистыми и прекрасными, заодно предохранив от пятен, веснушек, прыщей и угрей, уничтожат оспины, рубцы и шрамы. Я предложу вам снадобья, которые избавят ваши лица от складок и морщин. Я также позабочусь о ваших зубах — они станут белыми как снег и круглыми как жемчуг, а если они у вас шатаются, то я сумею их укрепить; десны у вас станут естественно-розовыми и в них не будет ни трещинки; губы, напротив, сделаются алыми — и такими нежными, что любому захочется к ним припасть... Кроме того, я могу по желанию избавить от лишнего веса тех, кто считает себя слишком тучным, и добавить мяса худышкам, в обоих случаях ни на гран не нарушая заповеданной природой гармонии. И если сам Гален выйдет из могилы и скажет мне, будто все это жалкие уловки, недостойные истинного эскулапа, я хладнокровно возражу ему: мне больше нравится беречь красоту созданного по образу и подобию Божьему человека, нежели потрошить наполовину разложившиеся трупы.

В ответ на обвинения в шарлатанстве лекарь с Тауэр-Хилл раздражается безошибочно опознаваемыми эскападами истинного Рочестера:

Если кое-кому я кажусь ненастоящим целителем, сиречь подделкой, то не означает ли сие, что существует настоящий целитель, он же оригинал, копией которого мне пришлось поневоле стать; более того, не означает ли сие, что он, врачюя чужие хвори, копирует меня — свою облыжно предполагаемую копию? И, следовательно, разве не моя вина в том, что он, скудоумный и не больно-то изощренный, вынужденно ведет себя точь-в-точь как я, — в результате чего и мне самому не удастся избежать не слишком лестного для меня сходства с ним? Поразмыслите далее над тем, как ведут себя в одинаковых обстоятельствах смельчак и трус, преуспевающий купец и банкрот, политик и глупец; они ведут себя совершенно одинаково с одной-единственной разницей. Смельчак высоко держит голову, гордо озирается по сторонам, носит на боку шпагу, ухлестывает за женой своего сюзерена и овладевает ею; и точно так же ведет себя трус, тогда как разница состоит только в том, что первый из них храбр по-настоящему, а второй только притворяется таковым; но это — как разницу между фальшивой монетой и настоящей, особенно если подделка хороша, — выявить затруднительно.

Банкрот приходит на биржу — и заключает сделки, и выписывает чеки на гербовой бумаге лучшего качества, и проставляет сумму, — и разница заключается только в том, что денег-то у него нет, а цена его чекам равна стоимости бумаги, на которой они выписаны. И это колоссальная разница — но ты ничего не заметишь, а если и заметишь, то уже ничего не исправишь.

Теперь возьмем политика; он говорит веско, обстоятельно, он тщательно подбирает слова и выражения и произносит их с невероятным достоинством. А прикинь-ка: разве нет столь же веско и обстоятельно, с таким же невероятным достоинством глаголящих глупцов? Но если всё это и впрямь так, если разница столь ничтожна (хотя и безмерна по вытекающим из нее последствиям), если внешне все выглядит одинаково, то разве не точно так же обстоит дело и в рассматриваемом нами примере с подлинным врачом-астрологом, с одной стороны, и шарлатаном, с другой? Шарлатан называет себя дипломированным доктором, он выписывает рецепты и продает собственноручно приготовленные им снадобья, он делает назначения и дает советы; наконец, он предсказывает по звездам — но ведь и настоящий врач ведет себя точно так же! Разницу в последствиях от обращения к первому и второму вы можете ощутить исключительно на собственной шкуре; вот на этот-то суд я и полагаюсь.

А на случай, если вы все же распознаете во мне шарлатана, я заранее скажу несколько слов в его защиту. Подумайте о том, что это может быть за человек: он вынужден выдавать себя за носителя высшего знания, в котором ему отказано; он привлекает к себе людей, обещая им невозможное и совершая курьезные поступки, которые, как ему прекрасно известно, никогда не принесут желанного результата.

Любой политик (причем, вне всякого сомнения, на основе личного опыта) знает, как просто прельстить толпу пустыми, несбыточными обещаниями, как, перебив оратора мнимо обоснованным протестом или намеренным наветом, сбить его с толку и в свою очередь наобещать три короба. Главное тут — вовсе не сдержать слово, а понравиться публике, сказать ей нечто приятное на слух, а большего ей и не надо. Пообещаешь светлое будущее, которое, разумеется, никогда не наступит, — и люди отведут взгляд от мерзостей настоящего. Так и только так можно привлечь к себе легионы и добиться массового повиновения, оборачивающегося для тебя личным величием, силой и славой. Вот почему любого политика следует признать шарлатаном (ведь ничем иным он быть не может) — и вот почему из шарлатана может при случае получиться настоящий политик.

Аутентичность этого текста как рочестеровского никогда не подвергалась серьезному сомнению; стоит разве что обратить отдельное внимание на библеизм «легионы»; отдельные по-библейски звучащие пассажи находим и в письмах Рочестера жене и Сэвилу. Иронические и сатирические парафразы Священного писания — неотъемлемая составляющая его авторского стиля. Куда интереснее в контексте наших размышлений упоминание о смельчаке

и трусе. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, автор памфлета только что бежал из Эпсома, где убили одного из его собутыльников; молва, не вникая в детали происшедшего (темная ночь, состояние глубокого опьянения и т. д.), признала поведение Рочестера в ходе всего скандала трусливым, что было ему, разумеется, не по вкусу — тем более что и мир, и себя в нем он видел не в черно-белой гамме, а в разноцветной, причем с несметным числом оттенков и полутонов. Отсюда и рассуждение о настоящей и притворной храбрости — и о том, как трудно выявить разницу между ними.

Есть еще одно указание на то, что эпизод с шарлатанством пришелся именно на 1676 год. В письме Рочестеру из Уайтхолла (датированном 15 августа 1676 года и отправленном «на почту Бенбери, Оксфордшир, до востребования») Гарри Сэвил сообщает (текст письма искажен и не везде поддается расшифровке):

...сейчас время критическое... ..зуйся своим шансом, потому что монсеньор Рэбелл так... любимец Его Величества и его сиятельства монсеньора Рэбелла, так что, по-моему, у тебя никогда не появится более благоприятного шанса завершить дело; к тому же твои познания в химии обеспечивают тебе доступ в места, куда и Манчестеру вход заказан во всем его невежестве, которое он столь мастерски использует. Одним словом, для нас настали дни ученья, а ведь, прописывая одни пивяки, дальше опочивальни не уедешь. Помолись за своих друзей, дорогой милорд, ибо грядет суд, и если я попаду в переплет, пришли мне 4 для очищения или приготовься проститься со мной на веки вечные...

[51]

Монсеньор Рэбелл был знаменитым врачевателем-шарлатаном, число «4» представляло собой астрологический символ и заменяло на письме слово «рецепт». Весьма вероятно, что в этом путаном послании к Рочестеру обращаются как к врачу и астрологу.

К этой же истории примыкает и рассказ Гамильтона о том, как Рочестер, поселившись в торговой части Лондона, общался с купцами и купчихами. По свидетельству автора «Мемуаров графа де Грамона», Рочестер, прежде чем стать шарлатаном по имени Александр Бендо, переоделся купцом и свел знакомство с преуспевающими представителями этого сословия. Общаясь с ними, он резко критиковал правительство, а при встречах с их женами обрушивался с нападками на придворных дам и королевских фавориток. У купчих он быстро вошел в моду благодаря тому, что отдавал им на словах предпочтение перед самыми знаменитыми красавицами двора, которым — как и всему Уайтхоллу — сулил Содом и Гоморру за то, что они чересчур привечают таких грубиянов, как Рочестер и Киллигрю, нагло утверждающих, будто все мужья в Лондоне роконосцы, а жены — потаскухи.

2

От суда по обвинению в убийстве уйти удалось; благодаря успешному маскараду было заслужено королевское прощение; однако, вернувшись ко двору, Рочестер обнаружил, что кругом одни враги. Никогда еще не давал он собственным ненавистникам такого повода для насмешек; несостоявшаяся дуэль с Малгрейвом не шла в этом плане ни в какое сравнение с предательским поведением по отношению к Даунсу. Рочестер, обнажив шпагу, кинулся на констебля уже после того, как стражники удалились; зато после их возвращения бежал, бросив безоружного приятеля на расправу. Тут же припомнили, что в памфлете «Сатира на род человеческий», опубликованном годом ранее, Рочестер неосторожно написал:

Творит добро, но кротко терпит зло,  
Трясаясь от страха, — лишь бы пронесло!  
Ему известен славы сладкий вкус,  
Но в глубине души он жалкий трус.

(Уместно вспомнить реплику одного из персонажей «Клуба самоубийц» Стивенсона:  
«Завидуйте, завидуйте мне, я трус!»)

Довольно трудно было бы однозначно обвинить Рочестера в следовании парадоксальному примеру, сформулированному им самим. Если он и повел себя в данном инциденте как трус, а не просто как человек растерявшийся и смертельно пьяный, то же самое следовало бы сказать и об Этеридже. Но у Этериджа было полно друзей, а у Рочестера — полно врагов. И как раз в эту пору один из них вышел на авансцену и поразил Рочестера его же собственным оружием — стрелами стихотворной сатиры, — причем, бесспорно, не без успеха. Это был сэръ Кар Скроуп — известный урод, хитрец и обманщик, слывший особенным пакостником в любовных делах. В «Защите сатиры» он недвусмысленно намекнул на скандал в Эпсоме:

Кто затевает стычку лишь затем,  
Чтобы подставить друга, а затем,  
Не защитив и не отмстив, бежит —  
Тому шутом быть только надлежит,  
Смычком елозить где-нибудь в предместье,  
Пока там не прознали про бесчестье.

Разумеется, Рочестер принял вызов, тут же написав стихотворение «Предполагаемому автору недавних стихов в защиту сатиры»:

Чтобы воздать охальнику сполна,  
Чья по-кошачьи взвизгнула струна  
(Пусть крика «Браво!» алчет и она),  
Нам заклеить придется род людской,  
Раз человеком признан и такой —  
Презренно оказавшийся тобой...  
Будь проклят год и месяц, день и час,  
Когда ты свет увидел в первый раз,

Когда уродец-бонвиван подрос,  
Когда замыслил свой апофеоз  
Любитель женщин и мучитель коз.  
Не в зеркало, а им в глаза взгляни,  
Чтобы понять, что чувствуют они  
С тобой при встрече; ужас — их ответ,  
Отказ, категорическое: «Нет!»  
В бордель такой стучится господин  
И слышит из-за двери: «Карантин!»

Как минимум, один штрих этой карикатуры наверняка полностью соответствовал оригиналу. Нелли Гвин в своем единственном сохранившемся письме иронически заметила: «Пэлл-Мэлл превратился для меня в место скорби, потому что я безвозвратно потеряла сэра Кара Скроупа, заявившего мне, что условия наших взаимоотношений перестали его устраивать, да и вообще поведшего себя несколько несдержанно, чего я от этого уродца-бонвивана стерпеть уже не могла».

Впрочем, последнее слово осталось не за Рочестером. Скроуп ответил с эпиграмматической лаконичностью, причем заключительный пуант бил противника не в бровь, а в глаз:

Писака подлый, из твоих клевет  
Правдивый я сложу тебе ответ:  
Как жаба ты трясешься, плох и слаб,  
Ведь сифилис губителен для жаб;  
Не нам сойтись на равных с неумехой:  
Ему перо — обузой, меч — помехой.

В этом ответе, увы, чуть ли не все было правдой: мир узрел в Рочестере сплошные пороки. В письме Сэвилу, написанном в 1677 году, в состоянии «почти полной слепоты и едва ли не паралича», Рочестер назвал себя «человеком, ненависть к которому стала всеобщей модой». И хотя меч еще не был ему помехой, относились к Рочестеру столь пренебрежительно, что никто не счел бы для себя бесчестьем отклонить вызов незадачливого стихотворца. В 1680 году (год смерти Рочестера) он принял сторону графа Аррана, сватовство которого к мисс Пуле было грубо отвергнуто ее дядей и опекуном Эдуардом Сеймуром. Пылкому и глупому юнцу Аррану, вызвавшему Сеймура на дуэль, пришлось тут же бежать в Гаагу, и тогда Рочестер (будучи не просто болен, но находясь уже на краю могилы) сам вызвал Сеймура и тщетно прождал его три часа на месте предполагаемого поединка в Арлингтон-Гарденсе.

Сеймур уклонился от дуэли, презрительно сославшись на историю с Малгрейвом.

9 марта подробный отчет об этой истории составил Фрэнсис Гвин в письме к лорду Конвею, который тоже ухаживал за мисс Пуле:

В этот четверг мистер Сеймур с утра послал за мной и приказал отправиться к лорду Рочестеру, поскольку накануне, за ужином у лорда Сандерленда, выяснилось, что лорд Рочестер всячески подстрекал лорда Аррана совершить то бесчинство, которое тот затем и совершил; а когда все закончилось так, как оно закончилось, говорил в неподобающем тоне о самом мистере Сеймуре.

Я немедленно отправился к Рочестеру — и он выбрал конный поединок на шпагах и пистолетах, сославшись на то, что для пешей дуэли он слишком слаб, а вот верхом вполне готов постоять за себя, а саму дуэль назначил на завтрашнее утро. На самом же деле, как мне кажется, подлинная причина заключалась в том, что за столь краткое время невозможно достать лошадей и надлежащую экипировку без того, чтобы привлечь к себе внимание и попасть под подозрение, что и имело место фактически, хотя с нашей стороны какой бы то ни было огласки избежать удалось, на сей счет у меня нет ни малейших сомнений. Однако в два часа ночи к Сеймуру прибыл от короля мистер Коллингвуд и в моем присутствии передал королевский указ ни в коем случае не выходить из дому, пока король снова не пришлет к нему своего человека, а произойти это должно лишь на завтра вечером. Мистер Коллингвуд также сообщил нам, что уже побывал точно с таким же предостережением и повелением у лорда Рочестера, вследствие чего я и не пошел к нему предупредить, что дуэль предотвращена; в сложившемся положении это представлялось совершенно излишним. Однако лорд Рочестер все же отправился утром на заранее уговоренное место дуэли, утверждая, будто король всего-навсего повелел ему не вмешиваться в дела лорда Аррана. Никого не найдя (а он ведь прекрасно знал заранее, что там никого не будет), он вернулся и тут же заговорил о том, что вышел на поединок, тогда как мистер Сеймур струсил. Правда, этим рассказам быстро был положен конец, и сейчас у нас все спокойно. В пятницу мистер Сеймур покинул Лондон. Я понимаю, что Вашей светлости подобная чуть ли не разведывательная деятельность со стороны клерка Совета сената может показаться странной, но теперь Вы полностью в курсе дела, а что касается моих прямых служебных обязанностей, то упомяну лишь, что по этому поводу была выпущена прокламация против дуэлей и сейчас она напечатана в газетах.

На письмо изобретательного клерка (письмо, в котором концы слишком хорошо сходятся с концами) рукой Конвея наложена вразумляющая резолюция: «Отчет о героическом поведении Эдварда Сеймура — клубок лжи, чушь собачья; он и с лордом Арраном драться струсил, из-за чего превратился в посмешище при дворе».

Было когда-то время, когда сатир Рочестера по меньшей мере побаивались. Даже друзьям от него, случалось, перепало. Он показал свою эпоху в зеркале — грязноватом, но тем не менее достаточно честном. Ненависть, питаемая им, далеко не всегда носила личный характер и не обязательно сосредотачивалась на таких людях, как Малгрейв или Скроуп. И он неподдельно изумлялся, обнаруживая, какое возмущение вызывают его стихи «у бесчисленных глупцов, которых его собственное острословье превратило в его заклятых врагов», по свидетельству Этериджа. Сэвил написал Рочестеру о том, в какое негодование пришла герцогиня Портсмут, а тот, ничуть не кривя душой, ответил: «Господом Богом клянусь, я не оскорбил ее мыслью, словом или делом, я не задел ее чувства и не указал на какой-нибудь присущий ей изъян. Во всем этом я повинен ничуть не в большей мере, чем и в измене престолу или подготовке вооруженного мятежа». Принося эту клятву, он явно забыл о «Зеркальце герцогини Портсмут»:

Я вижу, как Вы, встав с горшка,

У венценосного дружка

Пред этим побывав на ложе,  
Глядитесь в зеркальце... И что же?  
Следы любви, печать интриг...  
«Скорей подайте мне парик!  
Несите пудру и румяна,  
Иначе буду нежеланна!»

Перечисление всех, кто с негодованием узнал себя в грязноватом зеркале Рочестера, заняло бы целую страницу: тут тебе и «мужлан Вилье», и «паршивый Полтни», и «быкомордый Карр», и «цветочек Хантингтон», и «грязнуля Нелли», и «мудила Фрэнк», и «грабитель Сеттл», и (издевательски) «наш набожно-невинный Карл Второй»; лица перетекают одно в другое и расползаются, сливаясь в общую анонимную массу (или маску) — мир XVII века:

Преобладающими человеческими типами на нашем острове являются доносчики, нищие и бунтовщики, равно как и гибриды вышеперечисленных как по два, так и по три сразу, благодаря чему обеспечивается необходимое разнообразие; суетливые глупцы и трусливые рабы рождаются у людей такой породы и, на свой лад, преуспевают; хотя как раз рабов нынче стало меньше, чем когда-либо прежде. Из числа пороков постепенно идет на убыль только лицемерие — мерзавцы перестают притворяться немерзавцами, а женщины не отрицают уже того, что все они шлюхи.

То же настроение доминирует и в поздних стихах Рочестера:

Будь я особым даром наделен,  
Известным с незапамятных времен,  
Свободно принимать любую статью  
И жизнь в чужом обличье проживать,  
Я стал бы обезьяной, мишкой, псом,  
Стал тварью, обделенною умом,  
Премного мнящим о себе самом!

Именно в эти последние месяцы жизни и было, вне всякого сомнения, написано одно из самых таинственных и прекрасных стихотворений Рочестера — «Ода Ничто»: «Ничто! Ты старше самой черной тени». В этой оде выплеснулась накопленная поэтом ненависть к миру.

Ничто, ты там, где в ложь глупцы рядятся,  
Твои меньшие мерзостные братцы,

Когда своею мудростью гордятся.

Ум галла, честь голландца, датский раж,

Шотландская учтивость, наш кураж —

Твоя, Ничто, насмешливая блажь.

Твои, Ничто, и милость сюзерена,

И девка, предающая мгновенно;

Ты бездна, ты пучина, ты геенна.

Ненависть Рочестера достигла предела — и в тот же самый год пришел конец глубочайшей сексуальной привязанности поэта, предметом которой была Элизабет Барри.

## VII

Элизабет Барри

Герцогский театр, Дорсет-Гарденс[52]

Влюбленный Рочестер выведен сэром Джорджем Этериджем в пьесе «Сэр Шарм Шаркун, или Модник», первое представление которой (в присутствии короля) состоялось в Герцогском театре 11 марта 1676 года. По общему мнению, в образе Дориманта был выведен Рочестер. «Я знаю, это дьявол, — но и в чёрте, копнув поглубже, ангела найдешь». О достоверности изображенного в «Моднике» свидетельствует немецкий комедиограф Лангбейн: «Эта пьеса написана мастерски и чрезвычайно правдиво; все признали ее превосходной комедией; что же касается образов, то они, как было принято в Англии периода Реставрации, перенесены на сцену прямо из жизни». Полная идентификация Рочестера с Доримантом произведена как критиком Джоном Деннисом в «Защите сэра Шарма Шаркуна» (1722), так и «Сент-Эвремоном».

Деннис, в частности, пишет:

Прекрасно помню, что на первом представлении публика узнала и горячо приняла выведенных в пьесе персонажей — дам и господ, людей света и простых горожан; особенный же восторг вызвал Доримант. Зрители пришли к единодушному мнению о том, что этому образу придан целый ряд черт Уилмота, графа Рочестера, — острый ум, живость поведения, любовный темперамент и приемы, которыми он очаровывает прекрасный пол; далее, его завиральность, его непостоянство и совершенно особая манера распекать собственных слуг,



на которую еще при жизни самого Рочестера обратил внимание покойный епископ Солсбери; наконец, его привычка то и дело цитировать стихи Уоллера, которого этот аристократ читал исключительно высоко.

А вот свидетельство «Сент-Эвремона»:

[Рочестер] был в любовных делах весьма непостоянен и не раздумывая нарушал очередную клятву в верности. Сэр Джордж Этеридж образом Дориманта из «Шаркуна» польстил ему: портрет его светлости получился комплиментарным, все сучки и задоринки устранены, и блеск полированного дерева доведен до совершенства.

Многие диалоги и фрагменты диалогов из этой пьесы хорошо характеризуют не только искусство оболъщения, присущее Рочестеру, но и манеру, в которой его поведение стилизует и в какой-то мере нейтрализует дружески настроенный Этеридж. Весьма показательна такая реплика Дориманта: «Мне нравится, едва добившись успеха у новой дамы сердца, незамедлительно разругаться с прежней». А вот как обсуждают его успехи на амурном поприще друзья Дориманта:

Таунли:

Послушай-ка, а где твой друг Доримант? Мидли:

Утрясает дела, он ведь человек вечно занятой, подружек у него больше, чем у самого лучшего во всей Англии стряпчего — судебных тяжб. Эмилия:

Заходила мисс Люблус, она последние два дня такая злая и такая измученная. Таунли:

Злится она от любви, а мучается от ревности — или наоборот? Мидли:

Наш Доримант умеет умучить женщину так, что мало ей не покажется.

Именной пропуск на спектакль Герцогского театра, Дорсет-Гарден[53]

Интрижки с дамами двора были яркой солнечной стороной, но имелась и оборотная темная, которая в результате привела Рочестера в лечебные ванны мисс Фокар. Гренджер утверждает, что он «постоянно распутничал, причем нередко — с женщинами заведомо падшими, включая самых грязных лондонских проституток». Одного утверждения, особенно из этих уст, было бы недостаточно. Но есть и свидетельство добросовестного изучателя старины Хирна: «[Рочестер], наряду с другими девицами легкого поведения, пользовался услугами некоей Нелли Браун из Вудстока, которая — в отмытом виде весьма хорошенькая — была, однако, сквернавкой, грязнулей и редкостной дурой, на которую мог польститься разве что безумец». Загадочный пассаж из письма Джона Маддимена Рочестеру (сентябрь 1671 года) вроде бы касается еще одной интрижки того же сорта:

Судьба взялась завершить за Вас дело возмездия этой Фостер, оказавшейся самой последней дрянью и вполне заслужившей тот урок, который Вы ей недавно преподали; не барышня с севера, а простая девка, полный курс наук прошедшая под кустом. Ее дядьку — дубину, размахивавшую дубиной в Кенсингтоне, — нынче поколотил мистер Батлер, джентльмен плаща и копыта, и подобное рыцарство отшибло бедной девице последние мозги.

Однажды и Пепис упоминает Рочестера в интересующем нас контексте. Запись датирована вторым декабря 1668 года — со дня женитьбы на Элизабет Малле не прошло и двух лет.

Спектакль закончился, мы в Уайтхолле, жена пошла спать, а я остался при королеве и

герцогине, намереваясь побеседовать с герцогом Йорком, и в дамском обществе наслушался всяких глупостей про короля и придворных. Рассказали и о том, как лорд Рочестер пришел в дом терпимости, и, пока он был с девкой, у него украли и одежду, и деньги; одежда, правда, потом нашлась у девки под матрасом.

Этеридж не обошел эту сторону сексуальной жизни близкого друга вниманием. Одна сцена, не имеющая значения для развития драматической интриги, вставлена в пьесу, похоже, только затем, чтобы показать: Доримант охоч не только до образованных и учтивых, хотя и податливых, особ вроде мисс Люблюс.

Входит стражник с письмом. Стражник:

Вам письмо, сэр. Доримант:

Адрес правильный — мистеру Дориманту. Мидли:

Дай-ка поглядеть. Безграмотные каракули, как будто писала последняя шлюха. Доримант:

Знакомый почерк... А стиль, уверяю тебя, восхитительный! Мидли:

Прочитай-ка вслух. Доримант:

Изволь.

(Читает.)

«Люблю говоришь а сам не пришел. Люблю так приходи сию без гроша и очинно грустная пришли мне гинейку чтобы на представление где поют.

Завсегда к твоим услугам Молли».

Нам известны имена куртизанок того времени, снискавших благодаря любовникам-литераторам несколько двусмысленное бессмертие — мисс Крессвелл, мисс Росс, мисс Беннет, мисс Фостер и Бетти Моррис, «работавшие» на дому в Мурфилдсе или Ветстоун-парке. Кое-кого из этих женщин упоминает в стихах и Рочестер, отмечает он и рифмованное возражение Бетти Моррис некоей «даме из большого света, обозвавшей ее наложницей Бакхерста»:

Мне с мудрецом сношаться веселей,

Чем Вам, мадам, с десятком кобелей.

Возможно, именно ее и воспел Бакхерст под именем «бедовой Бесс»:

Бывало, в постели она принимала

Мужлана-судью или сквайра-нахала,

Но вхожа и в ложи теперь, и в партер,

И самый пригожий при ней кавалер, —  
И там, где проходит, нежна и желанна,  
Сердца принимаются бить в барабаны.

Рочестер ходил к девкам вовсе не для того, чтобы утешиться, получив отказ у какой-нибудь благородной дамы. Правда, он писал Сэвилу: «Я тут серьезно поразмыслил над тем, что из трех главных занятий нашей эпохи, кои суть женщины, политика и пьянство, мы с тобой по-настоящему преуспели только в третьем», но и на первом из вышеперечисленных поприщ ему, при желании, нашлось бы чем похвастаться.

17 декабря 1677 года Сэвил писал ему:

Чуть не позабыл привести еще один аргумент в пользу твоего возвращения в Лондон: сюда прибыла труппа французских комедиантов, отправившаяся было в Голландию, но волею ветров занесенная в наши края — и теперь выступающая в Уайтхолле с таким успехом, что тысячу раз жаль того, что тебя с нами нет, особенно с оглядкой на одну пятнадцатилетнюю актрисульку, краше и милее которой свет не видывал с тех пор, как оставила сцену твоя приятельница[54]. Нет, совершенно серьезно, она целиком и полностью в твоем вкусе, и истинным позором для англичан было бы, покинь она Альбион, сохранив усердно рекламируемую ею девственность, лишить ее каковой здесь ни у кого не хватает ума, целеустремленности или денег. Король вздыхает в безутешном отчаянии и говорит, что этот орешек не по зубам никому, кроме разве что сэра Джорджа Даунинга или лорда Ранела.

В 1679 году все тот же Сэвил в письме из Парижа упоминает о «двух шотландских графинях в точности в твоем вкусе... и в ожидании твоей светлости, поскольку, как я слышал, ни та, ни другая не готовы уступить никому, кроме тебя». В другом письме одну из этих дам называют по имени — леди Кинноул. А в 1670 году Сэвил зовет друга вернуться из Эддербери — где Рочестер провел весь январь после крестин сына, — с тем чтобы поэт обрушился с нападками на таможенную, которая, заботясь, на свой лад, об общественной морали, сожгла целую партию дилдо: «Видишь, милорд, какие безобразия творятся, стоит тебе уехать. Поразмысли же над тем, достойно ли жечь дрова в деревенской печи, пока в Лондоне не остыл еще прах этих мучеников. Ведь твоя светлость — наш генерал в войне плясунов с мужланами». Стихотворение Рочестера «Синьор Дилдо», возможно, представляет собой ответ на этот вызов Сэвила:

Синьор Стоялец, он же Постоялец,  
Надежный как морковь, свеча и палец,  
Всегда к услугам; список же услуг  
Звучит скорей как перечень заслуг.

О «плясунах», упоминаемых Сэвилом, мы кое-что знаем от Пеписа, который, поговорив 30 мая 1668 года с Гарри Киллигрю со товарищи за ужином в Нью-Эксчейндж, понял «что это за компания, которую позже начали называть плясунами; Гарри рассказал, как он и другие молодые аристократы встречались с леди Беннет и другими дамами — и танцевали голыми,

и занимались всеми прочими непотребствами». Леди Беннет уже была нами упомянута как мисс Беннет, наряду с Бетти Моррис и мисс Крессвелл.

Если амурные дела Рочестера в самом низу социальной лестницы затрагивали обитательниц Ветстоун-парка, то на самом ее верху речь шла как минимум об одной королевской фаворитке. Мисс Робертс была дочерью священника, а умерла она за год до Рочестера — и практически по той же причине, — проведя последние дни под духовным руководством доктора Бернета. Она оставила короля «ради личности и любви лорда [Рочестера], ибо в любви он ее как раз и заверил. Но внимание одной-единственной женщины, пусть и самой прекрасной в мире, вскоре наскучило лорду, и он ее оставил». Так сказано «Сент-Эвремом» — и буквально то же самое заявил сам Рочестер Бернету, который свидетельствует: «На его взгляд, усилия, предпринимаемые для того, чтобы сохранить верность женщине (абстрагируясь от уз брака и отрицая хотя бы теоретическую возможность развода), являются слишком грубым посягательством на права свободного человека».

Брошенная Рочестером, мисс Робертс без труда вернула себе благосклонность короля. Верности Карл не требовал, как, впрочем, и не сулил. Он ничего не имел против того, что был у Нелли Гвин третьим — не третьим мужчиной, естественно, а третьим мужчиной по имени Карл в длинном списке ее любовников, — и позволял леди Каслмейн наставлять ему рога с целой ротой разночинцев — от лорда Монмута до канатоходца Джейкоба Холла.

Мисс Робертс оказалась едва ли не единственной фавориткой Карла, так и не ставшей мишенью сатир Рочестера; судя по всему, и после любовного разрыва она с ним дружила. В июле 1678 года (за год до ее смерти) Сэвил, находясь на лечении в Лезер-лейн, написал Рочестеру:

Признаюсь тебе, я сам себя не узнаю, пропустив за семь месяцев через глотку невероятное количество ртути, и узнавал бы того менее, не будь рядом мисс Робертс. Да, она тоже здесь, живет в одном доме со мной, и мы то и дело наталкиваемся друг на дружку, как парочка сумасшедших в Бедламе[55]. По сравнению с тем, через что приходится пройти ей, собственные страдания кажутся мне смехотворными. Это просто неопишимо — или, вернее, я не стану этого описывать, чтобы не лишиться бедняжку удовольствия рассказать тебе все самой.

С именем Рочестера связывают и Нелли Гвин, что, безусловно, еще более примечательно. Правда, никто не оспаривает того факта, что, став королевской фавориткой, она Карлу не изменяла. Даже в сатирах Рочестера отсутствуют насмешки над ее неверностью. Да и сам тон сатир на Гвин не так резок, как в напаках на леди Каслмейн и герцогиню Портсмут; более того, в этих стихах порой проскальзывают лирические нотки:

Достойное занятие для девицы

Освободить мужчину из темницы,

В которой он ученостью томится.

Здесь, в Оксфорде, родителей она

Похоронила, бедная, одна,

Потратила кровавые гроши,

Лишь бы поминки вышли хороши,

И страстотерпец, отошедший в ночь,

Постиг во гробе: не скупится дочь.

Так знай же, дочь достойная, тебя мы

Проводим, раскачав колокола,

Из трубок воскуря фимиамы

И чаши осушая без числа.

Согласно многочисленным свидетельствам, Рочестер сохранил дружбу мисс Гвин, несмотря на однажды предпринятую им атаку на «всенародную подстилку». В единственном дошедшем до нас ее письме Нелли упоминает графа в числе друзей, отсутствие которых при дворе повергает ее в уныние; в 1677 году, когда мисс Гвин пришлось взять в долг, Рочестер выступил ее поручителем. Нелли, с ее добросердечием, могла пригреть на груди змею или представить королю собственную потенциальную соперницу, как это и произошло в эпизоде, с тревогой описанном Сэвиллом в письме Рочестеру:

Я тут самую малость занялся шпионажем, потому что твой неизменный друг женского пола — и время от времени (особенно сейчас) и мой тоже — замешан нынче в истории, делающей ее всеобщим посмешищем и могущей однажды закончиться к нашему вящему неудовольствию. Дело заключается, если я правильно информирован, вот в чем: леди Эрве, вечно плетущая козни и постоянно готовая пополнить их список какой-нибудь новой, в поте лица своего трудится над тем, чтобы ввести в игру мисс Дженни Миддлтон. Нечего и говорить тебе, каким опасным может быть появление новой курочки в старом курятнике; хорошо хоть у ее светлости практически нет доступа к нашему Карлушке Великому. Поэтому она заманивает бедняжку Нелли по два-три раза в неделю на ужин к Ч[иффинчу], куда прибывает и сама со своей протее; так что глупышка Нелли, сама того не ведая, сводит короля с Дженни, о чем леди Эрве громким шепотом и докладывает каждому встречному и поперечному у бедной мисс Гвин за спиной. Этот подвох разоблачила бы любая, но только не Нелли с ее головокружением от успехов и упорным нежеланием поверить в то, что друг может оказаться врагом. Вот я и решил поставить тебя в известность, потому что, хоть и водимся мы с твоей светлостью при дворе с совершенно разными людишками, дружба наша заставляет меня смотреть в оба, замечая любой случай, который может затронуть кого-нибудь из твоих друзей, как сейчас и происходит с Нелли. Нелли, с которой ты так дружишь и которая так великодушно и милосердно беседует со мной в моем нынешнем жалком состоянии.

Но адресатом этого письма был больной человек, ожесточившийся и против мира, и против собственного прошлого. Пусть он дружил с Нелли Гвин, пусть, по мнению иных, был ее любовником, но его ответ на сообщение о грозящей ей опасности проникнут невероятным цинизмом:

Я неизменно советовал даме, за которую ты вступаешься, одно и то же:

Ни в чем не бери примера со своих соперниц, живи в мире со всем миром, будь поласковее с королем и даже не думай науськивать его на кого-нибудь, да и вообще не буди в нем сильных чувств, это ни за что не пойдет тебе на пользу, отвечай согласием на малейшие любовные порывы с его стороны и не будь дурой — не строй из себя ревнивицу; напротив, рукой, телом, душой, сердцем, умом и всеми прочими прелестями, которыми ты обладаешь, старайся доставить ему максимальное удовольствие, исполняя при этом малейшую его прихоть; что же касается новых увлечений, то у палки два конца, и на каком из них окажешься ты, еще не известно; будь не промах и сама, порой это помогает. Так что, сам видишь, мои советы изрядно расходятся с твоими, а уж хороший я сводник или нет, судить не мне. Некоторые дали бы ей другой совет — исполать.

В этих строках с их горьким заключительным аккордом можно усмотреть следы трагического и, не исключено, постыдного отречения, а восклицание «хороший ли я сводник или нет, судить не мне» уместно сопоставить с созданной примерно в те же дни Рочестеровой переделкой «Императора Валентиниана» Джона Флетчера, а именно с теми стихами, в которых император требует от своих клеветников заманить к нему на ложе Луцину:

У жен спросите, как себя вести,  
Чтобы с ума красавицу свести;  
Назначьте цену — и пустите в торг  
Обман, угрозы, просьбы и восторг;  
Солгите, наконец, что я влюблен,  
Что потерял покой, утратил сон,  
Что вознесу ее превыше всех, —  
И вас вознагражу я за успех!

И все же реальные доказательства того, что у Нелли Гвин была хотя бы мимолетная интрижка с Рочестером, отсутствуют. В лондонском Музее Виктории и Альберта хранится памфлет, озаглавленный «Поэтическое послание графа Рочестера Нелли Гвин». Опубликованный анонимным издателем в середине XVIII века, он, как утверждается, скопирован с трехтомного рукописного собрания сочинений Рочестера, преподнесенного Карлом II французскому королю. Первый стих гласит: «Мой ангел, Нелли, Вам пятнадцать лет»; в дальнейшем же, соперничая в непристойности разве что с еще более примечательным «Содомом», автор «Послания...» детально расписывает прелести Нелли Гвин и воспекает свою (якобы имевшую место) интимную близость с нею. Если это стихотворение и впрямь принадлежит перу Рочестера, то можно не сомневаться в том, что актриса хотя бы однажды побывала в его объятьях, но как раз доказательства подлинности «Послания...» отсутствуют. Чисто стилистически его нельзя счесть недостойным пера нашего героя, да и (с оглядкой на шарлатана Александра Бендо) необходимо упомянуть о наличии у автора стихотворения определенной учености (в том числе в области химии) и несомненного глубинного знания тайн тогдашней женской косметики.

Нелли Гвин читает английский эпилог к «Мнимому больному»: Мы благородней всех, докажем это людям / Тем, что любить всех преданнее будем[56]

Что же касается других косвенных доказательств этой связи, то надо упомянуть об одном стихотворении, включенном писателем-порнографом Александром Смитом (именовавшим себя капитаном Смитом) в его книгу о дворцовых скандалах. Речь идет о «Школе Венеры», которую сам Смит приписывает Этериджу; в стихотворении есть строка, возможно, и породившая соответствующий слух. Тема заявлена уже в начальном трехстишии:

Жизнь акробатки Нелли,  
И все прыжки в постели

До гроба с колыбели.

Один из эпизодов в «жизни акробатки Нелли» (после того как актер Чарлз Харт передал ее с рук на руки лорду Бакхерсту) описывается так:

Попав у Бакхерста в немилость,

В отчаянный загул пустилась:

Имел ее и стар, и мал,

И Вилмот-умница лизал.

Подобные наветы и имел в виду Рочестер, написав с заведомой иронией:

Бедняжка натерпелась и на сцене,

Где черные пред ней метались тени,

И тщетно добивался девства Харт,

И тоже тщетно Бакхерст, весь — азарт.

Да, тщетно! Ведь она была невинна

Как мой язык, как ваша половина, —

И хоть клеветит: «Спал я с ней!» весь двор,

Невинной остается до сих пор.

В «Воспоминаниях Нелли Гвин», переизданных в наши дни репринтным способом, утверждается: «Вот уж лорд Рочестер не был влюблен в меня ни в коем случае. Его страстью была мисс Барри, а до нее мисс Бутель, тогда как мисс Гвин всего лишь играла на сцене». О мисс Бутель нам почти ничего не известно. Блистала она вроде бы во второстепенных ролях, хотя сыграла и Клеопатру в пьесе «Всё за любовь», и — по контрасту — святую Екатерину в «Любви тирана».

Изо всех этих женщин ни одна не оставила в жизни Рочестера столь отчетливого следа, как мисс Барри. Считается, что «он никогда никого не любил так преданно, как мисс Барри», — и этот вывод делают на основе дошедших до нас писем, в которых его любовь можно проследить по этапам страсти, нежности, ревности и разочарования. Совершенно очаровательная в общении, мисс Барри не была писаной красавицей, однако лицо ее было выразительно, а манеры изящны. Она утверждала, что доводится дочерью полковнику Роберту Барри (впоследствии адвокату); согласно одному из источников, она была рекомендована в театр одной из своих приятельниц, некоей леди Дэйвенант. Дебютировав на

подмостках в 1674 году, Элизабет Барри не снискала лавров, и коллеги по ремеслу усомнились в том, что из нее может получиться мало-мальски удовлетворительная актриса. Именно тут, как утверждают, и появился Рочестер, предложивший пари, согласно которому он обязался превратить ее за полгода в одну из ведущих исполнительниц в труппе театра Дорсет-Гарден. Он увез ее в деревню и принялся обучать тому, как для достижения этой цели воспользоваться мелодичностью голоса, данной ей от природы.

Мисс Барри была на редкость сообразительна и восприимчива, но слух у нее отсутствовал, улавливать подсказанную ей мелодию она не могла и тут же принималась фальшивить; что, впрочем, случается на сцене с большинством дебютантов. Чтобы избавить ее от этого недостатка, лорд Рочестер велел ей тщательно вникать в смысл каждого произносимого ею слова, он научил ее не просто петь и декламировать, но выражать голосом бушевавшие персонаж чувства, научил подчинять всю себя образу, заданному ролью. Рассказывают, что ради этого он не только наставлял ее лично, но и принуждал репетировать каждую роль, стоя на подмостках, не менее тридцати раз; причем не менее двенадцати раз — в сценическом костюме.

Пари он выиграл. В 1675 году Рочестер начал интересоваться поэтом Томасом Отуэем. Именно по рекомендации Рочестера в Дорсет-Гардене была поставлена первая пьеса Отуэя «Алкивиад», причем одну из ролей дали мисс Барри. Это была незначительная роль Драиллы, однако мисс Барри удалось в ней блеснуть. Добиться роли для своей возлюбленной означало сделать ее предметом вождения для толпы; любой, у кого водились деньги, не видел в этом ничего зазорного. Сами расходы, на которые пришлось пойти Рочестеру, свидетельствовали о силе его желания; это был начальный период любви, в полной мере раскрывшейся позже, когда любовь и желание самой мисс Барри уже не были столь однозначны.

Конечно, Рочестер тут же объявил раздоры и ревность приметам подлинной любви:

Священна ревность, ибо в ней

Заветный эталон

Того, что нет любви сильней

И что любовь не сон.

И высмеял собственные подозрения с неприкрытой нежностью к их объекту:

Мадам, теперь, любя Вас, я, как мне кажется, имею право и на ревность; Ваша соседка, придя прошлым вечером, держалась сущей шпионкой, каждое ее слово, каждый взгляд свидетельствовали о том, что она участвует в посягательстве на Вашу любовь или Ваше постоянство. Да будет ее приход лишним доказательством того, сколь напрасны мои страхи; во всяком случае, именно на это я и надеюсь. Да не разделит ни один мужчина вкушаемого мною неземного блаженства без того, чтобы я проклял его; если же доведется ему испытать нечто сходное при одной мысли о Вас, до Вас не дотронувшись, я буду счастлив, хотя он не заслуживает и этого. И все же мой жребий куда незавиднее, потому что тот, кто вкусит Вас, сподобится столь священной силы, что с легкостью отведет и проклятия, насылаемые мною на его голову.

Но прошло совсем немного времени — и Рочестеру стало известно, что «вкусить неземного блаженства» в объятиях мисс Барри может любой житель Лондона при деньгах. И пусть, как



было сказано после ее участия в постановке драматурга и актера Колли Киббера, «в искусстве вызывать сострадание ей на театральных подмостках нет и не может быть равных», даром сочувствия ближнему актриса была обделена. Тогдашняя сцена не могла считаться цитаделью добродетели, но изо всех актрис своего времени как раз мисс Барри прославилась сочетанием предельной распушенности и чуть ли не ледяного холода. Возник и не остался незамеченным странный контраст: с одной стороны, выходя на сцену и декламируя строки Отуэя, актриса заставляла театральную публику рыдать и сочетала в себе «спокойную властность и возвышенное достоинство, ее мимика и пластика были безупречно величественны, голос — полный, чистый и сильный — безукоризненно брал трагические октавы страсти; а когда отчаяние или нежность охватывали» изображаемую героиню, «соскальзывал и срывался с поразительным сценическим эффектом»; а с другой, это была «оказывающая платные любовные услуги женщина», о которой врач и писатель Томас Браун говорил: «Проведешь с нею в постели всю ночь, а наутро она тебя знать не знает, если, конечно, у тебя не найдется еще пяти фунтов». Подобные обвинения преследовали ее на протяжении всей жизни — и даже через много лет после смерти Рочестера о ней сочиняли такие срамные стихи:

Блядь Бетти Барри каждой твари

Дает в своем репертуаре...

На сцене чудо эта блядь —

Ей тридцати восьми не дать, —

И, хоть навроде не жидовка,

Собой отменная торговка.

Проследить этапы любви Рочестера достаточно просто. Вот письмо, напечатанное «капитаном» Смитом (вместе с ответом мисс Барри), пусть и не включенное в «Собрание писем Рочестера», подготовленное Чарлзом Гилдоном, но, судя по всему, подлинное. Здесь Рочестер предстает пылко влюбленным и потому не брезгующим традиционной для писем такого рода риторикой:

Поскольку я лишен возможности видеть Вас (что для меня невыносимее самой сладкой смерти) и не могу жить, не лицезрел Вашей красоты, жду от Вас указаний о том, как бы мне вновь вкусить блаженства в Вашем обществе, а ежели мне будет в этом отказано, Вы тем самым вонзите кинжал в мое и без того кровоточащее сердце.

Ответ мисс Барри краток и деловит:

Сэр, завтра граф П[ембрук] уезжает из Лондона, и в десять утра я буду к Вашим услугам на пьядце Ковент-Гардена; а до тех пор прощайте, мой дорогой, мой самый дорогой Рочестер. Барри.

В письмах, опубликованных Гилдоном, смена тона очевидна. Мы находимся на этапе любовного обладания. Страсть доминирует, но уже не безраздельно; слышатся нотки нежности; постепенно нарастает ревность, в конце концов оборачивающаяся чуть ли не ненавистью.

Сначала слышишь, как Рочестер с шуточной серьезностью (называя себя при этом самым диким и фантастическим чудачком на всем белом свете) призывает подругу вспомнить

миг Страшного суда, когда мы открыли друг другу сердца и по твоему призыву поклялись говорить святую правду, и произошло это только вчера, потому что вчерашним я вечно буду называть день, когда я видел тебя в последний раз, ибо все, случившееся между минувшей нашей встречей и предстоящей, не имеет ко мне никакого отношения, а если и имеет, то лишь как затяжной приступ полубоморочной тошноты, исключаящий саму возможность счастья и радости. Тут моего внимания домогается один несносный болван, мешая мне закончить письмо, — разрази его сифилис; его — и любого или любую, кто не дает мне возможности думать о тебе; но вечером я тебя увижу—и стану счастлив, вопреки всем болванам вселенной.

Насмешливая библейская аллюзия, которой открывается эта цитата, более чем характерна для стиля Рочестера. Одно из писем Сэвилу он закончил словами: «Libera nos a malo[57] — Ибо Твое есть Царствие Мое, Сила и Слава, ныне и присно», тогда как при другой okazji он переделал религиозное стихотворение Фрэнсиса Кварля «Зачем в тени возлюбленный Твой лик?», заменив Господа Бога в качестве подразумеваемого метафизического собеседника на земную возлюбленную:

Сияй мне солнцем, тень прости крылом!

Взгляни, я слеп, я нем, я жалкий гном!

Ты жизнь моя, ты мир, ты оком!

Весьма вероятно, что эта несколько кощунственная пародия и только что процитированное письмо принадлежат к одной и той же поре и имеют общего адресата — женщину, которая за пять фунтов ложится с каждым.

До нас дошли тридцать четыре недатированных письма Рочестера к мисс Барри — дошли в напечатанном виде; рукописный оригинал не уцелел. Их отношения скорее всего завязались в 1674 году и наверняка прервались в 1678-м, вскоре после рождения ребенка. Порядок писем, принятый в публикации, вроде бы никак не связан с их возможной датировкой, и мне кажется оправданным несколько перетасовать их с тем, чтобы у нас на глазах промелькнула нить, ведущая от нежной шутливости первого письма к неприкрытой грубости последнего. Вот, например, письмо, вне всякого сомнения, принадлежащее к раннему периоду:

Мадам, в моей жизни больше нет ни минуты, которая не обернулась бы для меня лишним доказательством того, как я Вас люблю; отсутствие или недостаток удовольствия от дел, с Вами никак не связанных; приятное, пусть и неоднозначное, волнение, охватывающее меня всякий раз, стоит мне о Вас подумать или хотя бы мимолетно вспомнить; и, наконец, вечное беспокойство, в котором я пребываю от Вас вдали, — все это в достаточной мере убеждает меня в том, что я воздаю Вам должное, любя Вас так, как не была доселе любима ни одна женщина на земле.

Это не похоже на письмо любовника, буруемого первой слепой страстью; скорее уж на письмо нежного и любящего мужа: он стал смиреннее и вместе с тем проще, его сердце больше не «обливается кровью», ее ответы не означают для него смертного приговора (или отмены такового), да и сама она уже не является «жизнью и счастьем [его] души», — когда слились воедино тела, дальнейший разговор о душе становится излишним. Зато теперь возлюбленная именуется «дражайшей изо всех, кто был дражайшей мне» и «царицей наслаждений». Отныне он пишет без символов и аллегорий, открытым текстом: «Никто никогда не заменит мне тебя в полной мере».

Читая эти письма, вслушиваясь в этот монолог, поневоле переносишься в старый дом в Сент-Джеймсе, где квартировал Рочестер, где подолгу сиживал, поверх безмолвия внимая призрачным голосам, где улучшал, оттачивал, облагораживал нежностью и насмешкой, где оклеветывал клеветой влюбленного и вызывал на ссору предмет своей любви. Поначалу в этих ссорах не было горечи, да и сколько-нибудь реального содержания тоже; милые бранятся — только тешатся. В первое время сцены притворной ревности устраивала она, понуждая его к шутливым протестам: «А что касается мисс Как-Ее-Там, то зря ты расстраиваешься по ее поводу: я ее, как и ты сама, знать не знаю. Так что, милая моя чертовка, до скорого!»; «Вчера я зашел единственно затем, чтобы заверить тебя: я не ужинал в женском обществе». Порой эти самооправдания звучали довольно сердито:

Мадам, сегодня Вы были явно не в духе, поэтому я и ушел; надеюсь, что завтра мне повезет больше; а до тех пор позвольте мне утаить от Вас (и от любого человека, которого Вам вздумалось бы нанять следить за мной) точное место моего пребывания и характер времяпрепровождения; затайтесь на время и Вы, довольствуясь простым осознанием того факта, что Вы не в силах любить, мисс [Барри], с той силой — или хотя бы в половину той силы — как я. Спокойной ночи.

Элизабет Барри: «царица наслаждений» (Рочестер)[58]

Поначалу Рочестер ревнует не к мужчинам, а к женщинам; ревнует не как любовник, а как объект их досужих рассказней; особую тревогу вызывает у него некая «стройная дама»:

Не знаю, кто больше виноват в этом — ты, любящая лишь чуть-чуть, или я, тяготеющий в чувствах к чрезмерности и необузданности; хотя понятно, что быть наполовину нежной столь же скверно, как быть полоумным; в любом случае, идет ли речь о разуме или о любви, полнота безумия предпочтительнее его половинчатости. Если ты примешь по этому вопросу мою точку зрения, мне будет проще привлечь твое внимание к тому, что ты в существенной мере обделяешь и мою страсть, и меня самого, ступая по тропе плоти и дьявола; я имею в виду всех глупцов, принадлежащих к сильному полу, и всех дур, принадлежащих к слабому, — ту толстуху и ту стройную даму, которые в один голос ежедневно внушают тебе, какой пагубой чреваты для тебя уступки мужчине, который любит тебя как никто другой. И мне, из последних сил уверяющему себя в собственном счастье, отчаянно не нравится, что ты, будучи так не похожа на этих женщин во всех мыслимых и немыслимых отношениях, соглашаешься с ними в одном-единственном. Эти строки написаны в состоянии между сном и бодрствованием, и мне не хотелось бы отвечать за них; но после того, как мне приснилось, что ты в гостях у мисс Н. с пятью-шестью глупцами и дурами — и той самой стройной дамой, — я пробудился в неподдельном ужасе, страхе и смущении и тут же бросился писать тебе это письмо с тем, чтобы ты развеяла мои страхи и сделала меня счастливым в той же степени, в какой я сохраняю тебе верность.

Выходит, его страхи еще можно было развеять, а вызваны они были дурными снами и некими женщинами — толстухой, стройной дамой и той соседкой, что, придя в гости, держалась сущей шпионкой. Порой он срывался в присутствии мисс Барри на какую-нибудь грубость, но, воротясь домой, всякий раз приходил в себя и раздражался письменным покаянием, в котором вновь и вновь пародийно обыгрывались религиозные мотивы:

Мадам, пока я не исправлю манеры своего поведения, мне стыдно взглянуть Вам в глаза. Однако видеть Вас мне столь же насущно необходимо, как дышать; увидеть Вас — или умереть, так стоит для меня вопрос. Но если это так, то лицезрение Вас означает для меня жизнь, и поэтому мне остается лишь исповедоваться Вам, благоговейно проникнувшись истинным раскаянием. Да, до сей поры я был многогрешен, был глубоко болен, но примите мою исповедь и позвольте обещанием грядущего рвения и трепетного служения вырвать у

Вас слова прощения и отпущения, ибо кощунственная клевета, с которой я обрушился на Вас, мой ангел, прошлым вечером, может быть прощена и избыта лишь дальнейшим допущением меня к Вашим невыразимым уладам, описать которые бессилён даже всепроникающий язык. Аминь.

Ревность стала своего рода религией: «сомнения ревнивца, трепет, страх». Но в ревнивых попреках было не больше грубости, чем веры в их обоснованность. Возможно, именно тогда Рочестер и написал знаменитую «Песню»:

Душа красавицы нежна,  
Как взгляд, каким дарила  
В тот первый раз, когда она  
Меня поработила.  
Но переменчива, увы,  
И так непостоянна,  
Что, веря голосу молвы,  
Жду миг любой обмана.

И это, куда более совершенное, стихотворение:

Мелькнет в Ея объятых век —  
Быстрее, чем зимний день:  
Закончив мимолетный бег,  
Скользнет в ночную тень.

Но ах! Как медленно текут  
Часы Ея вдали:  
По милям мертвенных минут  
Мгновенья поползли.

Тиха тогда моя душа,  
Хоть сердце все в крови

И грудь застыла, не дыша,  
Могильником любви.

Не презирайте, мудрецы,  
Влюбленного глупца —  
Он мир прошел во все концы,  
Жизнь прожил до конца.

Когда бы вы хоть раз Ея  
Увидели на миг,  
То обезумели б, как я,  
И сорвались на крик.

Но не суди нас даже тот,  
Кто, видя наш разлад,  
Подумает: влюбленных ждет  
Собственнотворный ад.

Священна ревность, ибо в ней  
Заветный эталон  
Того, что нет любви сильнее  
И что любовь не сон.

Источник счастья мутноват,  
Хоть сладко припадать

И пить, не глядя, все подряд, —

А боль не может лгать.

Попрек любовный не порок;

Напраслина — и та,

Крепя союз на вечный срок,

По-своему свята.

В декабре 1677 года родился ребенок. Рочестер болел в деревне; двумя месяцами раньше, в послании Сэвилу, он назвал себя «почти полностью слепым паралитиком, уже всерьез и не чающим когда-нибудь вернуться в Лондон». О том, что он стал отцом, поэт узнал из письма того же Сэвила — из письма, содержащего завуалированный упрек:

Главная новость, которую я должен тебе сообщить (а об этом мне сказал прошлым вечером сам король), такова: мисс Барри родила твоей светлости дочь; роль вестника для меня в этом случае — и честь, и радость. Не уверен, что с ней все в порядке, потому что ее подруга и покровительница из Мэлла (стройная дама, толстуха или шпионящая соседка? — Г. Г.) в последнее время только и жалуется на ее — и собственную — бедность, наверняка не без намека на нехватку то ли щедрости, то ли мужества у твоей светлости, потому что в противоположном случае ты позаботился бы о даме, не отказавшей тебе в своих милостях по всей шкале.

Проступок Рочестера объяснялся не скарденностью и не исчезновением былой привязанности. Поэт был не только тяжело болен, но и кругом в долгах. Богатством Рочестер не отличался никогда, потому что его отец ухитрился потерять родовое имение; конечно, женился он на богачке, но на ее деньги не посягал. Его собственные доходы зависели от короля. Как постельничий он получал тысячу фунтов в год; как распорядитель в Вудстоке — чуть больше; Карл лишь от случая к случаю жаловал ему кое-что сверху. На жизнь при дворе этого было мало, и как раз в том году, когда мисс Барри родила Рочестеру дочь, кредиторы посягнули на основной источник его доходов. На имя лорда-казначея был подан целый ряд жалоб на Рочестера; ограничимся в иллюстративных целях одним примером: некая Агнесса Карсон писала, что граф, одолжив у нее сто фунтов, в качестве единственного возможного залога после долгих препирательств сослался на свое ежегодное жалованье, из которого она и просит лорда-казначея Денби вычесть указанную сумму в ее пользу. Правда, на письмо была наложена резолюция: «Отказать».

Так или иначе, прислать денег мисс Барри он не мог. Но это не означает, что он отказал ей в своем внимании:

Мадам, Ваши уверенные роды принесли уверенность и мне — уверенность в том, что мои страхи за Вас остались позади; страхи, обременявшие меня, уверяю Вас, ничуть не меньше, чем Вас, должно быть, обременял Ваш живот. Все сложилось в точном соответствии с моими желаниями: Вы живы и здоровы, и у Вас родилась дочь, то есть особа того пола, который я так ценю. Надеюсь вскоре увидеть Вас, а недолгое время спустя — увидеть Вас в полном блеске былой красоты. Прошу Вас собственноручно отпереть прилагаемую шкатулку;

ручаться не могу, но надеюсь, что находящиеся там безделицы Вам пригодятся. Больной и прикованный к постели — а сейчас я именно таков, — я не в состоянии дать Вам большего, но если они и впрямь смогут Вам пригодиться или же Вам потребуется от меня еще что-нибудь из того, чем я волен распорядиться, — только дайте знать.

В 1678 году тучи начали сгущаться не только над Рочестером, оказавшимся весной при смерти (причем его объявили умершим еще при жизни), но и надо всей Англией. В октябре возле Сомерсет-хауса нашли убитым сэра Эдмунда Берри Годфри — и началось разоблачение «заговора папистов». Рочестер был болен, беден и загнан; у него имелись все основания опасаться, что шпионы прознают о кое-каких делах, совершенных им ранее в Сомерсете — в те дни, когда его жена перешла в католичество. Теперь иезуитам, они же псы Господни, оставалось дожидаться лишь его полного разочарования в возлюбленной, чтобы вынудить его опуститься на колени в обществе доктора Бернета и преподобного Роберта Парсонса.

Разочарование подкрадывалось постепенно — для начала прикинувшись раздражением, пришедшим на смену нежности. Теперь Рочестер говорит уже не о стройной леди и не о толстухе, а о других мужчинах. Он больше не отзывается нечаянно вырвавшихся резких слов, не просит за них прощения; напротив, поясняет, что у него имеются все основания говорить с мисс Барри именно так. Но все же былой нежности хватает, например, на то, чтобы датировать письмо словами: «Через час после ухода от Вас».

Мадам, пусть и не по доброте душевной, а единственно затем, чтобы ответить за собственные слова (а ведь этот долг чести распространяется и на женщин), будьте любезны предоставить мне неопровержимые доказательства того, что Вы меня любите. Если я до сих пор не дал или не предложил Вам чего-нибудь из тех вещей, которыми я волен распорядиться, то потрудитесь объяснить, о чем конкретно идет речь. Я, может быть, туповат, но зато честен — и мне остается только надеяться, и ради Вас, и ради себя самого, на то, что природа Вашего небрежения мною именно такова; но какую ни окажись она на самом деле, раз уж я обречен любить Вас, позвольте мне порой говорить Вам горькую правду с неподобающей дерзостью, к каковой обязывают меня и желание по-прежнему служить Вам, и подразумеваемая польза для Вас самой. Считайте эту резкость еще одним выражением моей любви и глубочайшего почтения к Вам; таков уж я есть, и таким я хочу казаться, и если сейчас Вам почудится, будто я кривлю душой, то, надеюсь, впоследствии Вы сумеете понять мою правоту.

Вы вскользь бросили пару слов, позволивших мне размечтаться о том, что завтрашний день сулит мне неземное блаженство; так или иначе, молю Вас, позвольте мне свидеться с Вами прежде, чем это счастье выпадет любому другому мужчине; поверьте, у меня имеются причины настаивать. Наидрагоценное из моих сокровенных желаний, я жду от тебя лишь знака.

«Горькая правда» не заставила себя долго ждать:

Мадам, прегрешения мои таковы, что любой разумный человек легко найдет им оправдание, но для Вас я его не ищу — уж больно Вы темните; не сомневаюсь, что и дела свои Вы уладите; во всяком случае, я Вам того желаю; и, подбирая самые умеренные выражения, смею заверить Вас в том, что пути наши впредь не пересекутся, не будет ни дружбы, ни добросердечия, потому что не Ваше мнение важно для меня, а только самооценка. Ваш покорный слуга.

Когда-то, на более ранней стадии любви, Рочестер провозгласил, что величием духа отличается она от остальных женщин в любви, да и во всем прочем тоже. Теперь же, когда разрыв уже фактически состоялся, он все еще пишет ей в три часа ночи, он все еще заклинает: «Гнев, сплин, позор и жажда реванша не возобладали еще надо мной в такой

мере, чтобы я позабыл великую истину: я люблю Вас сильнее всего на свете». Он выводит все новые строки, дышащие едва ли не ненавистью:

Слава Б-гу, я могу еще различать вещи, о которых берусь судить; я вижу в Вас воплощение женской сути и на Вашем примере убеждаюсь в том, что никогда не ошибался, относясь к женщинам именно и только так, как я к ним отношусь. Для меня немислимо проклясть Вас, но дайте же мне возможность сжалиться над самим собой; большей милостью Вы меня уже не одарите. Вы сильная личность и постоянно настаиваете на этом; беда в том, что Вы взяли доказывать это на моем примере. Вы великолепы в своем презрении (как и во всем остальном) и не даете спуска слугам, распространяя на них презрительную жестокость; Вы стараетесь ни на мгновение не сходить с раз и навсегда избранной стези — и скорее подвергнете Вашим пыткам меня, чем откажетесь от практики истязаний. С Вашей стороны было бы куда умнее (не говоря уж о справедливости и милосердии) распространять эту практику более равномерно, помещая в пыточную камеру всё, находящееся у Вас во власти, попеременно — то есть не отдавая безжалостного предпочтения никому и ничему. Восхищаясь Вами, я был бы рад последовать Вашему примеру, окончательно отказавшись от малейшей учтивости; но, поскольку я не способен на это, я готов принять Вашу логику и назвать белое — черным, а черное — белым; таким образом, я остаюсь в вечном долгу перед Вами (это не Ваш выбор, но он доставляет Вам огромное удовольствие, не правда ли?); Вам достаточно всего лишь обеспечивать меня все новыми поводами для того, чтобы не любить Вас более, потому что направить этот поток в противоположную сторону Вы не желаете и впредь не пожелаете уже никогда.

Если с началом любовных отношений с мисс Барри вполне сопоставима «Буколическая беседа», написанная в 1674 году:

Взгрустнется пастушку,

Влюбленному дружку... —

то процитированное выше письмо вполне можно соотнести со щемящими заключительными строками стихотворения «Покидая возлюбленную»:

Не то чтоб я, тоской томим,

Наскучил быть единственно твоим;

Но как мне, не смеша людей,

Назвать тебя единственно моей?

Тебя — кого склонить к постели

И богачи, и пустомели,

И четверть Англии сумели.

Красоток в Лондоне полно,



Которым, как давно заведено,  
Единственного подавай —  
И уж ему приуготован рай!  
А ты, увы, сама свобода,  
Ты равнодушна, как природа,  
Добыча для всего народа.

Уместно вспомнить и о дочери — об «особе того пола, который я так ценю». При крещении ей дали то же имя, что и матери. Рочестер трепетно относился к собственным детям — и теперь, когда в распутстве мисс Барри уже не было оснований усомниться, он забрал у нее ребенка.

Мадам, я отнюдь не рад огорчить Вас, отбирая у Вас ребенка, но Вы сами вынудили меня принять это решение и поэтому не вправе жаловаться, хотя, казалось бы, сама природа восстает против моего невольного выбора; с другой стороны, смею Вас заверить, я так сильно люблю малютку Бетти, что она ни у меня, ни у моих домочадцев ни в чем не знает отказа; надеюсь, что уже в ближайшее время смогу возвратить ее Вам, причем еще более чудесной девочкой, чем когда-либо. А пока этого не произошло, Вам имеет смысл призадуматься над тем, что моя так называемая гордыня, оказавшись никудышной помощницей в моих собственных делах, будет Вам замечательным подспорьем в Ваших, если Вы, конечно, сообразовываете на нее опереться; а поскольку Вы, судя по всему, стремитесь только к тому, чтобы избежать огласки, постарайтесь и вести себя надлежащим образом.

Заключительные строки этого письма дышат такой решимостью и суровостью, что позднейший компромисс между родителями «малютки Бетти» представляется более чем сомнительным. О ней самой нам известно лишь, что она умерла в четырнадцатилетнем возрасте и была похоронена в Эктоне — там же, где еще несколько лет спустя нашла последний приют ее мать. В завещании Рочестер отписал «малютке по имени Элизабет Кларк сорок фунтов ежегодного вспоможения, выплачиваемого пожизненно со дня моей смерти, в обеспечение чего я закладываю особняк Саттон-Маллет». Скорее всего, речь здесь идет именно о дочери мисс Барри; куда с меньшим доверием следует отнести к рассказу «капитана» Смита о некоей мадам Кларк, жестоко изнасилованной за год до кончины Рочестера.

## VIII

### Идиллический пейзаж

«Отдых джентльмена»[59]

Мисс Барри, и мисс Робертс, и мисс Бутель жили в Лондоне и имели определенное отношение ко двору; деревня, напротив, скорее всего ассоциировалась для Рочестера с женой и детьми. В отличие от большинства светских людей, он не придерживался презрительного отношения к жизни в глуши, вкратце сформулированного сэром Робертом

Балкли в письме к поэту: «Оставить Лондон для меня как умереть». Де Грамон, по свидетельству Энтони Гамильтона, называл деревню «каторжной галерой юности». Разбитые дороги, отсутствие развлечений (ни театра, ни борделя), косность и отсталость аборигенов, — тогдашний Оксфордшир отстоял от Лондона примерно на такое же расстояние, какое в наши дни разделяет Оркнейские острова и Эдинбург. В театральные комедии того времени полным-полно сельских сквайров и их женушек, которые, приехав в Лондон, ужасают и потешают столичных жителей нелепыми нарядами и дикими манерами. Стэнфорд — персонаж из пьесы Шедуэлла «Горемычные любовники», — потерпев фиаско при дворе и вообще во всем Лондоне, выслушивает совет пожить в деревне: там он, мол, будет свободен. «Свободен! — горестно восклицает он. — Свободен напиться допьяна мартовским пивом или вином хуже того, каким в дешевых кабаках запивают свиное рагу; свободен слышать конское ржание, собачий лай и соколиный крик».

Но Рочестер вырос в деревне; до приезда в Оксфорд он и в городе-то не был ни разу; и редкий год он не возвращался к себе в имение — пописать стихи, оправиться от болезни или просто поразмыслить над жизнью. В письме Сэвилу он признается, что только в деревне «человек может думать, потому что при дворе не думают вообще, а если и думают — то, подобно человеку, помещенному в барабан, только о грохоте палочных ударов, обрушивающихся на голову». К тому же время от времени ему было просто необходимо обуздывать «неутолимую жажду вина и женщин», о которой писал Натаниэл Ли, хотя эта жажда подчас накатывала на него и в деревне. В его последнем творении — модернизированной для нужд театра эпохи Реставрации версии флетчеровского «Валентиниана» — иные вписанные им строки носят явно автобиографический характер:

Простушки-нимфы речек и ручьев!

И вы, недобрый люд глухих лесов!

Когда, прервав мучительный мой путь,

Сюда на миг приду я отдохнуть,

Зачем, смущая, муча и маня,

Вы тут же обовьетесь вокруг меня?

Коварные исчадья здешних мест —

Зол каждый взгляд, похабен каждый жест;

Здесь если не русалка, то сатир, —

Я испугаюсь этаких задир!

Не так ли взирали на Рочестера в Хай-Лодже, Вудсток, фавны и сатиры с непристойных фресок, которыми он сам же, по словам Обри, и расписал тамошние стены? Потому что часть своих лондонских правил и привычек он перенес и в деревню; правда, здесь имелось резкое различие между Вудстоком, его официальной резиденцией как королевского лесничего начиная с 1674 года, и Эддербери — деревенской усадьбой, в которой почти безвыездно обитала его супруга. Описывая это различие между двумя домами, отстоящими друг от дружки на неполные пятнадцать миль, Сэвил говорил об «эддерберийской трезвости и вудстокском дебоширстве». Именно в Вудстоке Рочестер спознался с Нелли Браун, сюда же к нему порой наведывался Бекингем, причем однажды он прибыл «с лучшей сворой гончих,

какие когда-либо травили зверя на британской земле». Именно здесь принимал и потчевал Рочестер самых необузданных из числа своих собутыльников; тогда как в Эддербери Бакхерст или тот же Сэвил наведывались лишь по чисто церемониальным (и декоративным) поводам вроде крещения младенца. Не исключено, что как раз в вудстокских лесах эта буйная парочка впуталась в историю, описываемую Хирном:

Однажды дикий граф Рочестер с парой собутыльников встретили на рассвете в окрестностях Вудстока прелестную пейзажку, отправившуюся на рынок продавать масло; они тут же купили у нее весь товар, щедро расплатились, а масло просто-напросто оставили под деревом. Девушка, увидев это, дождалась, пока они не удалятся, и тут же забрала масло; ей было жалко, что зазря пропадет такой добрый товар. А добрые молодцы, которым только этого и надо было, погнались за ней, схватили и, в наказание за кражу, поставили ее на голову и отхлестали брусками масла по заду.

Немногие эскапады, числящиеся за Рочестером в Эддербери, весьма безобидны, да и рассказы о них основаны исключительно на устной традиции. Говорили, что однажды он, одевшись лудильщиком, отправился в соседнюю деревушку. И здесь, собрав у крестьян кастрюли и сковороды якобы на починку, продырявил их, за что его тут же заперли в каталажку. Рочестер, однако же, ухитрился передать в Эддербери записку, адресованную себе самому; из усадьбы за ним прислали экипаж, и крестьяне тут же освободили его. Устное предание подает эту историю в выгодном для Рочестера свете, повествуя о том, что он прислал жителям деревушки новую утварь взамен погубленной. В другой раз он нацепил на себя лохмотья (вспомним слова Бернета о том, что он расхаживал по улицам в нищенском отрепье) и, подойдя к настоящему бродяге, осведомился, куда тот идет. Нищеврод ответил, что идет он к лорду Рочестеру и поступает так совершенно напрасно, потому что всем известно, что тот никогда не подает милостыню. Рочестер напросился к нему в компанию, и, когда они дошли до Эддербери и бродяга, естественно, отправился в усадьбу с черного хода, сам Рочестер вошел с парадного подъезда и тут же проинструктировал слуг, что им делать с незваным гостем. Челядинцы схватили нищего и притопили его в бочке с пивом, причем каждый раз, когда он высовывал голову, Рочестер собственноручно топил его снова. В конце концов бродяге позволили выбраться из бочки, накормили его, подарили ему справную одежду и строго-настрого наказали не возводить впредь напраслину на лорда Рочестера.

Бродяга[60]

Водораздел между Вудстоком и Эддербери, между «распутниками» (как именовал свою компанию, включая, естественно, и себя, Рочестер) и женой с детьми, бывал, как правило, непреодолим. Но однажды в мрачном Вудстоке — с его непристойными фресками, памятью о Нелли Браун и парком, где спьяну плясали голыми, — побывал невинный посетитель. «Одна старуха из Вудстока, — записал себе в дневник Хирн, — рассказала мне вчера, что герцог Монмут, побывав на скачках в Порт-Мидоу, заехал затем к лорду Рочестеру в Вудсток, и там герцог, граф и дитя (маленький Чарлз) гуляли по парку, и герцог держал мальчика за руку, а старуха сказала, что такого пригожего малыша в жизни не видела. И герцог подарил ему чудесную маленькую лошадку».

Примечательно, что даже в этом рассказе не упоминается о приезде в Вудсток леди Рочестер. Очевидно, герцог Монмут познакомился с юным лордом Уилмотом после того, как отец забрал того у матери, так и не пожелавшей покинуть дом в Сомерсете, брезгуя злом и пороком, которые источало всё так или иначе связанное с королевским двором. Единственное упоминание о Вудстоке в общем контексте с леди Рочестер содержится в ее коротком недатированном письме мужу, в котором, однако же, слышатся нотки любви и отчаяния:

Хотя я не настолько самонадеянна, чтобы уповать на исполнение своей просьбы, позвольте мне пожелать Вам прибыть на завтра к ужину в Корнбери, как того требуют неотложные дела. Ваша преданная супруга Э. Рочестер.

Если Вы вместо этого повелите мне, раз уж я доехала до Корнбери, прибыть к Вам в Вудсток, это порадует меня значительно меньше.

Леди Элизабет Уилмот: «женщина во всех отношениях замечательная» (Томас Хирн)[61]

Хирн рассказывает о том, что «по общему мнению, [Рочестер] обращался со своей женой — женщиной во всех отношениях замечательной — просто по-скотски», но скотство это целиком и полностью сводилось к несоблюдению супружеской верности. Двух этих молодых, умных и откровенно несчастных людей наверняка связывало сильное чувство, в тени которого терялось большинство неблагоприятных поступков мужа. И неправильно было бы думать об Элизабет Рочестер как о вечной страдальце, томящейся наедине с детьми в большом мрачном доме в Эддербери. Вне всякого сомнения, ей случалось наезжать в Лондон, хотя единственное письменное свидетельство таких визитов относится к ранней поре ее супружеской жизни. В письме из Вестминстера от 4 марта 1671 года леди Мэри Берти сообщает приятельнице: «Я была в театре вместе с леди Рочестер, леди Бетти Хауэрд и мисс Ли, после чего поужинала у леди Рочестер и вернулась домой за пару минут до полуночи». Да и в самом Эддербери выпадали веселые вечера, которые, правда, не сравнить с удамой гульбой в Вудстоке. Леди Берти побывала здесь 17 июня 1672 года и написала затем той же самой приятельнице: «Леди Рочестер отпраздновала день рождения моего брата с великой пышностью; били в колокол, а потом подали роскошный ужин. Трапеза завершилась танцами — общим числом в шестнадцать, — а поскольку погода стояла жаркая, мы танцевали и во дворе, и в саду, и только часть танцев — в зале». Тем же самым летом, рассказывает леди Берти, Рочестер побывал с женой в Сомерсете, а осенью его назначили вице-губернатором Сомерсета. На следующий год в сентябре весь Эддербери вновь веселился: Томас Уортон женился на Анне Ли, внучке старой леди Рочестер; впоследствии этот брак оказался на редкость несчастливим.

Как правило, Рочестер проводил часть лета с женой; о том, что он жил с нею в Эддербери в 1676 и 1678 году, известно из дневника лорда Англси; каждый сентябрь в Вудстоке проходили скачки на кубок (и сам Рочестер на рысаке выиграл их 16 сентября 1679 года). Монотонное течение деревенской жизни не раз прерывалось и по другим поводам. В 1673 году основатель секты квакеров Джордж Фокс провел в Эддербери «многолюдное и шумное собрание» своих приверженцев и вместе с Браем Д'Ойли заночевал в доме, известном в наши дни как «старый особняк». «Я ужинал, а тут-то меня и взяли; а мне как раз нужду справить надо было», — написал он позднее жене из вустерской тюрьмы. Арестовали его, однако же, не в Эддербери, а на следующий день — в Армскоте, Вустершир. А в первый год после женитьбы Рочестера (1667) был опубликован трактат ин-кварто, озаглавленный «Страшный суд Господень в Оксфордшире. Подлинная история женщины из Эддербери, практиковавшей черную магию и внезапно получившей чудовищный ожог на боку в отсутствие какого бы то ни было огня». В период Реставрации Эддербери привнес некое темное пуританское начало, что во время гражданской войны привело к уличным боям и к убийству священника на пороге собственного дома.

Разумеется, пышно праздновали в Эддербери и крестины: в августе 1669 года — Анны (на этой церемонии скорее всего присутствовал ее только что вернувшийся из Парижа отец), в январе 1671 года — Чарлза, единственного сына Рочестера, которому будет суждено пережить отца всего на год и который, по словам Хирна, был одним из самых красивых мальчиков во всей Англии, и дошедший до нас портрет эту оценку подтверждает. Об этих крестинах нам кое-что известно из письма Генри Сэвила, извиняющегося за то, что не смог на

них присутствовать:

Покорнейше прошу прощения за мой неприезд на крестины лорда Уилмота, повторяя тем самым извинения, уже принесенные от моего имени лордом Бакхерстом и Сидли. Конечно, мне было чрезвычайно жаль пропустить такую церемонию, но твоя светлость проводит столько времени с женой, что через год мне наверняка представится возможность наверстать упущенное — и я уж не премину ею воспользоваться!

Шутливый прогноз Сэвила, однако, оказался неточен. Следующие крестины — дочери Элизабет — прошли лишь в июле 1674 года, а младшую дочь — Малле — крестили в январе 1675 года, как раз когда ее отца отлучили от двора, как утверждает, за «Историю безвкусицы». Все эти торжества, конечно же, были шумными, на них съезжалась лондонская знать, а в 1669 и 1674 году дело, похоже, дошло до плясок на лужайке.

Рочестер любил своих детей, унаследовавших родительскую красоту, хотя Чарлз, увы, унаследовал от отца и слабое здоровье. О том, как выглядели дочери Рочестера, свидетельствует Хирн:

Что же касается трех дочерей, то старшая из них, Анна, была высокой и стройной красавицей; она вышла замуж сначала за Генри Бэйнтона (будущего эсквайра), а затем за Фрэнсиса Гревилла (старшего сына Фаулка, лорда Брука), которому она родила, наряду с другими детьми, Уильяма, нынешнего лорда Брука, — а этот молодой человек вознамерился подражать во всем своему деду, лорду Рочестеру, не обладая, однако же, его талантами. Вторая дочь, миниатюрная красотка леди Элизабет, вышла замуж за Эдуарда Монтегю, графа Сэндвича (сына когдатошнего безуспешного соискателя руки мисс Малле. — Г. Г.)... Мне ничего не удалось толком выведать у обитателей Вудстока о леди Малле, узнал только, что она не была такой красавицей, как две старшие; но я прочитал в книге пэров, что она вышла замуж за Джона Возна, ирландского барона Лисберна.

В дальнем уголке церковного кладбища в Эддербери есть небольшое надгробие с надписью, высеченной под пухлощеким херувимом: «Целиком и полностью уповая на второе пришествие Иисуса Христа, покоится здесь прах Мэри, упокоившейся в мире жены Джона Свифта и заботливой кормилицы их сиятельств леди Элизабет Уилмот и леди Малле Уилмот, чей смертный час пробил 28 ноября 1687 года». Мэри Свифт, должно быть, вместе с Джоном Кэри и его женою, входила в число преданных дворовых, которых старая леди Рочестер умела отблагодарить куда лучше, чем ее дети и внуки.

Уголок церковного кладбища в Эддербери: могила заботливой кормилицы[62]

К детям своим Рочестер относился с любовью человека, считающего продолжение рода единственно известной ему формой бессмертия. В письмах к жене он часто просил напомнить им о своем существовании: «Напомни обо мне Анне и лорду Уилмоту»; «Нижайший поклон моей тете Роджерс и Анне»; «Пожалуйста, попроси мою дочь Бетти передать от меня привет моей дочери Малле»; «Что бы ни случилось со мною, Бог да благословит тебя и детей». А вот пример спора с женой о здоровье сына. «Я чрезвычайно опечален болезнью сына — и потому, что ты так расстраиваешься, и потому, что люблю его сам, — пишет он, едва прослышав о первых симптомах недуга, а позднее присовокупляет: — Как бы болезненно ты ни отнеслась к этому, я вернул его в Эддербери, и это пошло ему на пользу; по крайней мере, стало ясно, что у него золотуха; и я на следующей неделе заберу его в Лондон для лечения». Жаль, что нам ничего не известно о приезде Чарлза в Лондон и о его жизни в отцовском доме — постоянном месте сборищ «развеселой шайки-лейки»; взгляд на этот мир глазами ребенка был бы очень интересен. Дошли два письма его отца, написанные на смертном одре и полные патетических восклицаний и надежд на то, что

Рочестер-младший никогда не стяжает славу умника и остроумца. Поэт был великим мастером давать советы другим.

Чарлз, я очень рад тому, что ты пишешь мне (хотя и редко), и искренне желаю, чтобы ты и впредь вел себя так, что я мог бы любить тебя, не испытывая при этом чувства стыда. Послушание бабушке и всем, кто учит тебя хорошему, — вот путь того, кто чувствует себя счастливым и хочет навеки остаться таковым. Избегай праздности, презирай ложь, и да благословит тебя Господь. О чем я и возношу молитвы Небу. Рочестер.

Надеюсь, Чарлз, что, получив это письмо и узнав из него, что джентльмен, взявший на себя роль моего посланца, впредь станет твоим наставником, ты очень обрадуешься подобному проявлению отцовской заботы и проникнешься чувством благодарности; а благодарить меня лучше всего сдержанным и достойным поведением. Ты уже достаточно вырос для того, чтобы ощущать себя мужчиной, если ты при этом проявишь известную мудрость (мальчику, когда умер отец, было всего девять лет; судя по всему, поэт разделял вздорные идеи своей матушки о раннем взрослении. — Г. Г.); а подлинная мудрость заключается в том, чтобы служить Господу, читать книги и почитать родителей в первую очередь и своего наставника — во вторую; в зависимости от того, последуешь ты этим советам или нет, тебя в дальнейшем ждет счастливая или несчастливая судьба. Но я такого высокого мнения о тебе, что с радостью думаю: ты меня никогда не разочаруешь. Дорогое дитя, учись и будь послушным, и ты увидишь, что за отцом стану тогда я; удовольствий не ищи, ибо не в них счастье. О том, чтобы так оно все с тобой и было, я молюсь беспрестанно. Рочестер.

В этих письмах нет лицемерия. Рочестер и впрямь не хочет, чтобы его сын прожил такую же жизнь и придерживался такого же образа мыслей, как он сам; он надеется на то, что его сын уверует в Бога, а не окунется вслед за отцом в холодную бездну атеизма. Позже он скажет Бернету: «Блаженны верующие, вот только не каждому дано уверовать», и признает, что «религия как единое целое сулит такой покой, как ничто иное на всем белом свете; правда, относится это только к верующим». Счастья и покоя — вот чего он желал собственному сыну.

К портрету Рочестера как отца надо добавить несколько штрихов, рисующих его сельским жителем и достойным сыном своей матери-помещицы. Было бы странно, если бы он не унаследовал от нее, наряду с любовью к деревне, определенные навыки хозяйствования и вкус к земледелию. Он держал в своих руках судьбу не только Эддербери (где ему наверняка изрядно помогала мать), но и принадлежавшего его жене Инмора в Сомерсете — того самого Инмора, из-за которого она когда-то стала столь желанной невестой не для него одного. В Инморе он проявил себя предприимчивым и в общем и целом на удивление честным хозяином. Сам он был вечно в долгу как в шелку; он рассказывал Бернету об уловках, к которым ему и его приятелям приходилось прибегать, «сбивая с толку кредиторов, рассказывая им первое, что придет в голову, и давая пустые обещания, лишь бы избавиться от них хоть на какое-то время», — но он никогда не брал на личные нужды из доходов жены без того, чтобы все вернуть ей впоследствии. Возможно, порой она испытывала нехватку в деньгах, но никогда дело у нее не доходило до столь катастрофического положения, какое описал ей однажды муж:

Дорогая жена, я поправляюсь так медленно и со столь постоянными возвращениями недуга, что порядочно надоел сам себе. Будь у меня хоть самая малость сил, я непременно приехал бы в Эддербери, но в моем нынешнем состоянии мне просто не выдержать поездки в Кенсингтон и обратно. Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я не посылаю тебе денег; пока я не окрепну настолько, что смогу взять их сам, никто не даст мне и фартинга; и если бы я не заложил [драгоценное] блюдо, я умирал бы сейчас не от болезни, а с голоду.

Правда, однажды он написал ей: «Уже несколько недель, как я сообщил тебе, что в твое распоряжение поступили деньги из Сомерсета, и я готов переслать тебе, сколько нужно. К настоящему времени половину суммы я израсходовал; но тем не менее готов поделиться с

тобой остатком, если тебе так будет угодно». Но тут и впрямь отчасти виновата — хотя бы тем, что не отреагировала своевременно, — сама леди Рочестер; а в некоторых других случаях она ожидала от мужа большего, чем ему удавалось раздобыть.

Я расцениваю как комплимент твое желание побыть в моем обществе, да и как же иначе? Но я живу так бедно, что Ваша светлость наверняка найдут совместное проживание обременительным. Если бы Вашей светлости вернули те деньги, на которые Вы сделали покупки для Сомерсета, то эта сумма, подоспей она вовремя, пришлась бы как нельзя кстати. А на ту малость, что у меня есть, и одному-то не свести концы с концами. Так или иначе, Вы не получили все эти вещи по вине Бланкура, а вовсе не по моей, потому что я распорядился отослать их еще две недели назад.

А вот эпизод, в ходе которого Рочестер определенно взял у жены сомерсетские деньги в долг без отдачи:

Мне сообщили, что Вы изволили оказать мне честь, ожидая моего приезда в деревню, куда я и впрямь должен был отправиться давным-давно, однако дела при дворе находятся сейчас в еще более подвешенном состоянии, чем когда-либо. Распутывая их — в ходе чего мне пришлось потратить все свои деньги, и твои тоже, — я оказался вынужден задержаться до тех пор, пока не изыщу средств к существованию; и вот наконец это произошло и больше ничто не мешает мне поступить именно так, как мне сильнее всего хочется, то есть свидеться с Вашей светлостью в Эддербери.

Жена была любимым кредитором Рочестера, и его шутовское самоопределение как ее «покорного слуги» представляется не совсем необоснованным:

Не знаю, кто убедил тебя в том, что на покрытие долгов твоего слуги нужны пять фунтов, но на следующей неделе Бланкур едет на запад, и по его возвращении ты получишь полный отчет обо всех твоих доходах и неизбежных расходах; что касается последних, то они (за вычетом необходимого лично мне на хлеб насущный) произведены исключительно в твоих интересах и на нужды зависящих от тебя людей; если я и оказался плохим управляющим, то, по меньшей мере, у тебя никогда не было лучшего, что приносит твоему покорному слуге известное удовлетворение.

Так или иначе, бывали трудные времена, когда в усадьбе Эддербери отсутствовало самое необходимое:

Сколько угля ты ни закажешь, я всё оплачу по расписке; деньги у меня есть, правда всего чуть-чуть; приехать мне трудно, но когда вернется мистер Кэри, он позаботится о тебе ничуть не хуже, чем это сделал бы я; жду твоих дальнейших распоряжений.

## IX

Злой ангел ненависти

«Политическая и светская сатира»[63]

Взаимоотношения Рочестера с женой известны нам главным образом по их сохранившейся переписке, в которой трудно усмотреть черты «скотского обращения», о котором упоминает Хирн.

В своих письмах к жене Рочестер не часто предстает в образе счастливого возлюбленного, хотя однажды он торопливо набросал ей в Ньюмаркете следующие строки: «Ставлю шесть к

четырем на то, что я люблю тебя всей душой, а спорь я о том же с кем-нибудь посторонним, я поставил бы два к одному», а в другой раз отписал ей с нежной насмешливостью:

Мадам, я получил три Ваших портрета и пребываю в великой тревоге из-за того, что они могут оказаться похожими на оригинал. По величине головы можно диагностировать рахит; исходя из угрюмого выражения лица данная особа склонна к молитвословию и религиозным пророчествам; однако, мягко говоря, пухлые щеки свидетельствуют о чрезмерном пристрастии к сладкому; тогда как живой и даже на портрете трепещущий нос, судя по всему, позаимствовал не подходящую ему живость у глаз, немного, если я не ошибаюсь, опухших. Ранее мне не доводилось видеть улыбающегося подбородка, насупившихся губ и надутого чела. Надо отдать должное живописцу (надели его Господь подходящим смирением), и наверняка он красавец, если, конечно, с ним еще не успели обойтись точно так же, как он на своих полотнах — с Вами. Имею честь надерзить Вам и тем, что совершенно определенно собираюсь в деревню: у меня уже есть лошади, осталось найти кучера, и, как только я это улажу, Вы сразу же будете иметь неудовольствие видеть у Ваших ног Вашего покорного слугу Рочестера.

Подобные письма проникнуты духом непростой, можно сказать, тайной женитьбы, неудачного похищения на Чаринг-Кросс, стихов о минуте «в жизнь длиной»; они адресованы разбитной девице, способной с трезвым презрением отозваться о собственных женихах и на глазах у отчима чокнуться с одним из них полукубком кларета. Но их браку суждено было претерпеть череду превращений, в равной мере затрагивающих обоих.

Рочестера терзали угрызения совести из-за его постоянных супружеских измен. Конечно, он мог с меланхолической нежностью посоветовать жене в прекрасных стихах не спрашивать о том, когда он вернется, или еще определеннее высказаться в письме:

Тысячу раз целую мою дорогую женушку в полном соответствии с собственными чувствами и живой игрой воображения. Подумай обо мне ровно столько, сколько сочтешь нужным и, главное, приятным, — а потом забудь меня; потому что, хотя в тебе и заключено для меня блаженство и счастье, мне не хочется причинять тебе боль, ведь люблю я тебя сильнее, чем самого себя, и достижение мною собственных целей ставлю ниже, нежели осуществление тобою — твоих. Прощай.

По меньшей мере однажды Рочестер признался в письме в том, что он перед женой в долгу:

Непросто быть безмятежно счастливым, а вот быть добрым, напротив, предельно просто — и это важнейшая составляющая счастья. Говорю это не затем, чтобы ты была ко мне добра; ты так долго была добра, что я в конце концов проникся уверенностью в том, что так оно навсегда и останется; говорю затем, чтобы подсказать тебе, что во мне, может быть, есть доброта, хотя обстоятельствам моей жизни это, казалось бы, полностью противоречит. Но не стоит слишком мудрствовать по поводу собственной глупости, иначе мне следовало бы превратить это письмо в книгу, посвятить ее тебе и опубликовать, чтобы ее прочел весь мир.

Их брак не был полностью разрушен. На его развалинах оставалось достаточно первоначальной страсти и последующей нежности, чтобы начать строить жизнь заново, — и супруги непременно так и поступили бы, будь они предоставлены самим себе и друг другу. Но «одиночества вдвоем» брак им не принес. Сэр Джон Уорр с женою, с самого начала стоявшие между Элизабет Малле и соискателями ее руки, стремясь при помощи лорда Хаули, ее деда, продать невесту подороже, вечно что-то советовавшие, на что-то указывавшие, в чем-то укорявшие, по-прежнему имели большое влияние на дочь (в случае Уорра — на падчерицу). Они так и не смирились с ее замужеством, хотя и восприняли его как свершившийся факт. Леди Уорр навещала дочь ежегодно — и каждый раз это оборачивалось натянутыми нервами, вспышками взаимной нетерпимости, а то и прямыми ссорами между мужем и женой.



Стиль поведения Вашей светлости в последнее время, пусть он и намного мягче того, чего я на самом деле заслуживаю, несет на себе отпечаток Ваших недавних бесед с теми, кого я был бы готов чтить вне всякой меры, если бы они, в свою очередь, воздавая должное как мне, так и Вашей добродетели, на пушечный выстрел не приближались бы ни к Вам, ни к нашим с Вами безукоризненным, как мне хочется верить, отношениям.

Да и как ему было декларировать безукоризненность или хотя бы просить прощения, если каждое его прегрешение леди Уорр немедленно включала в общий перечень и предъявляла его к сведению родной дочери?

После одного из таких визитов он написал Элизабет с самобичующей горечью:

Моя оставленная мною в полном небрежении жена, пока ты не стала многоуважаемой вдовой, тебе, я не сомневаюсь, хочется иных утешений — и, говоря правду и ничего, кроме правды, я обеспечиваю тебя ими в той мере, какую нашел бы достаточной любой, кроме самых неистовых нетерпеливцев. Что за злой ангел ненависти сподобил, на горе мне, леди Уорр наезжать к тебе ежегодно, гостить по целому месяцу и отравлять тебе этим жизнь на остальные одиннадцать? Слава Б-гу, камни в почках (причем немаленькие!) и обусловленные ими мучения избавляют меня от необходимости лицезреть воочию твои страдания. Предложи мне в пределах мыслимого и разумного сделать что угодно, лишь бы ты успокоилась; но ты ведешь себя как несчастная баба, орущая от боли, но стесняющаяся признаться лекарю, где именно у нее болит; все эти три года я выслушиваю твои постоянные жалобы, но ни разу ты не довела до моего сведения хотя бы одной сколь бы то ни было достоверной причины вечного недовольства. У меня просто-напросто нет еще трех лет на устранение этого взаимонепонимания, я вот-вот обрету покой в объятиях не столь мнительной подруги, как ты; и когда это случится, ты наверняка прозреешь, хотя вряд ли это сделает тебя счастливее.

Она «проорала от боли» три года, утверждает он, но едва ли это определение является всеобъемлюще точным — особенно из уст человека с нечистой совестью и расшатанными ее «ором» нервами. Вот, по контрасту, ее послание мужу:

Блаженство, испытанное мною при получении твоего письма, омрачено лишь одним обстоятельством: ты не называешь хотя бы примерной даты, когда я могла бы надеяться на нашу новую встречу, — и эта неопределенность сильно уязвляет меня. Не знаю, что именно ты испытываешь столь странным способом — мое терпение или мое послушание, — но, как того и требует супружеский долг, у меня обоих этих качеств в избытке. Не думаю, что ты решишь задержаться в Бате сейчас, когда туда съехалось столько народу, но и хватит ли у тебя сил и решимости покинуть насиженное место, мне не известно тоже; пожалуйста, поразмысли над тем, достаточно ли разумно ты себя ведешь, и не сочти за труд известить о столь долгожданном для меня решении, потому что вот-вот начнется сессия парламента — и тогда у тебя появится столько дел, что тебе наверняка станет не до приезда в деревню. Поэтому, прошу тебя, распорядись моими дальнейшими поступками, и даже если это будет означать небрежение нашими детьми и моими столь долго вынашиваемыми надеждами повидаться с тобой, я снесу и это, лишь бы не заставляя тебя вспоминать о том (и мучить себя этими воспоминаниями), что есть на свете и такое существо, как твоя верная и преданная...

Достаточно кроткий упрек — и, не исключено, именно благодаря этому жалящий тем сильнее; но и о том, что она не утратила еще прежнего духа воинственности, косвенно свидетельствует пространное послание самого Рочестера:

Не возьмусь в разговоре с тобой отрицать того, что героическая решимость не есть черта, восхищающая меня в женщинах; даже если бы от нее зависела моя жизнь, она бы меня не восхищала, ибо пусть это и добродетель, но женщине не подобающая... Ноги должны быть в тепле, а голова в холоде — и точно так же было бы только естественно предположить, что

величию и низости следовало бы располагаться в разных местах — и героическую голову должен, по идее, уравнивать покорно виляющий хвост. Не только здравый смысл, но и опыт подсказывают мне это на примере леди Монтенелл и еще двух десятков дам, все достоинства которых настолько сосредоточились в умных головках, что на долю всего остального остались одни изъяны. А значит, Вам, мадам, прекрасно известно, что я не слишком высоко ставлю дух воинственности применительно к особам прекрасного пола и вследствие этого безмерно счастлив тому, что никто из моих подруг не считает целесообразным приумножать собственную прелесть избыточной агрессивностью; такое простительно лишь изнемогающей в ожидании аристократке, которая, набравшись смелости, ускользает от невыносимого опекуна под спасительную сень законного брака; в остальных же случаях мы ждем от наших дам более естественного и милосердного поведения. Это, мадам, не более чем письмо — и чтобы сделать его доброжелательным, мне придется заверить Вас в том, что я окончательно впал в старческое слабоумие, а чтобы сделать, вдобавок ко всему, и учтивым — пропустить несколько строк для пущей важности и приписать внизу:

Мадам!

Я слишком глубоко чту Вас, чтобы, оставаясь в немилости, приблизиться к Вам на расстояние пушечного выстрела, но как только Вы вновь сделаете меня своим фаворитом, я не заставлю себя ждать.

В антологии фольклора есть стишок, приписываемый Рочестеру. Он напитан тою же тяжелой и безутешной иронией, что и только что процитированное письмо, и обращен «К моей более чем добродетельной жене»:

Я с тобой во всем согласен,  
Потому как я безгласен,  
Потому как я молчок,  
Даже ежели чок-чок.  
Пью-то я-то за тебя-то  
И вздыхаю виновато,  
Я налево не хожу —  
Жопу женину лижу,  
Как обязан и должен,  
Твой слуга покорный, Джон.

Если эти строки и впрямь принадлежат Рочестеру, то как поразительно контрастируют они с его ранним шуточным стихотворением, в котором поэт клянется в своем постоянстве:

Не изменюсь, нельзя никак,  
Я не чета другим;  
Знай: уродился этот хряк

Единственно твоим!

Теперь же он ополчается и на сам институт брака:

Юнец, послушай мой совет,  
Чтоб не наделать страшных бед!  
Греши, когда и с кем возможно,  
Греши — но крайне осторожно,  
Иначе ловкая девица,  
Которой вздумал насладиться,  
Заставит на себе жениться!

Можно отметить, что «орет от боли» не столько леди Рочестер, сколько лорд, и в «Сатире на супружество» этот крик оборачивается истерическим визгом:

Супружество, дом ревности и горя,  
Где муж с женой и с плотью кровь в раздоре;  
Она бранится, ты кричишь: «Отстань!» —  
И миг молчанья столь же груб, как брань.

Особенно в финале стихотворения:

Супружество, ты хуже, чем Бедлам!  
Безумна Ева, без ума Адам!  
Один женился — но вдвоем попались.  
Прощай, Эдем! В аду вы оказались.

Смотрителями в этом Бедламе наверняка были сэры и леди Уорр. А сама по себе развернутая аллегория женитьбы по любви как обоюдного сумасшествия — не навеяна ли она воспоминанием о полуночном «умыкании» невесты при помощи шести вооруженных всадников и о последующей скачке в глухой ночи? Что же за смертоносной отравой оказались

опоены они оба? Любовь не исчезла бесследно; об этом свидетельствует замечательное стихотворение последней поры об усталом путнике, ищущем вечный покой; она вновь проявилась в словах, сказанных на смертном одре. Вспомним его разрушенное здоровье, сифилис, камни в почках, болезнь глаз, порой доводившую его чуть ли не до слепоты; вспомним слова, сказанные в письме: «Я поправляюсь так медленно и со столь постоянными возвращениями недуга, что порядочно надоел сам себе»; вспомним его постоянную неверность — «Иначе вновь, сорвавшись с неба, я рухну в грязь, впаду во грех»; вспомним супружескую чету Уорров; но если мы перечитаем письма медленно и внимательно, всплывет еще кое-что — вполне соотносимое с первым стихом сатиры («Супружество, дом ревности и горя»), — причем окажется, что речь идет не только об испытывающей более чем оправданную ревность жене, но и о самом поэте.

Если у него были причины жаловаться на леди Уорр, то и у его жены имелись все основания недолюбливать старую леди Рочестер. Этой даме было необходимо управлять большим хозяйством и, желательно, имением. Детей от первого брака она потеряла рано, а когда подросли внуки, у нее отняли и ее любимую игрушку — поместье Дитчли. Ей нужно было где-то жить, и она перебралась к младшему сыну в Эддербери. Он был польщен этим, потому что любил мать и, возможно, слегка побаивался ее; во всяком случае, на его детство она наложила неизгладимый отпечаток. Ее внук сэр Эдвард Генри Ли родился в 1663 году и женился в четырнадцатилетнем возрасте в 1677-м. Наверное, именно тогда старая леди Рочестер и переехала к сыну. Элизабет, скорее всего, была в это время в Инморе, потому что муж написал ей, очевидно из Эддербери, об уже состоявшемся переезде:

Изменение прежних планов моей матушки (которая нынче, и слышать не хочет о том, чтобы отсюда уехать) заставляет меня задуматься над вещами, которые чуть было не вылетели у меня из головы, но ты можешь не сомневаться в том, что никакое мое решение ни в каком случае не преследует цель покуситься на тебя, на твои счастье и покой, насколько это, разумеется, в моей власти. Поэтому я пишу тебе это письмо, стремясь приуготовить тебя к переезду сначала сюда, а потом — куда распорядится судьба, принимающая (как мне кажется) за нас решения, которые мы склонны приписывать собственной мудрости или вмешательству высших сил. Поэтому будь готова выехать по первому моему сигналу (о точных сроках я сообщу позднее) и в знак этой готовности незамедлительно ответь на это послание и не тани с отправкой письма. Да благословит тебя Бог.

В другом письме он выражает надежду на то, что «твое с моей матушкой удачное сочетание окажет чрезвычайно благоприятное воздействие на меня, как это уже бывало и раньше; и в этом случае, и в целом ряде других ты сумеешь проявить завидную скромность и доброту». Более половины его писем жене за этот период снабжены приписками для старой леди Рочестер.

Сама же она, должно быть перестав быть главой большого хозяйства, изнывала от скуки. Вынужденная праздность позволила разыгаться воображению; ее любовь к сыну, ее властный и крутой нрав, ее вспыльчивость, в своей совокупности, побудили ее начать придумывать различные истории про невестку и пересказывать их сыну — истории, по-видимому, как раз и предназначенные для того, чтобы пробуждать ревность. Неопровержимым доказательством этого может послужить приводимый далее отрывок из письма Рочестера жене:

Не удивляйся тому, что я не писал тебе все это время; мне трудно было выбрать тон письма — вернее, писем по нескольким поводам сразу, — здесь же я только пожелаю тебе не придавать особого значения некоторым подозрениям моей матушки по твоему адресу: будучи чистой воды домыслами, они беспочвенно возникли и бесследно сгинут. Во всяком случае, я сделаю для этого все, что в моих силах.

О тех же обвинениях речь идет, похоже, и в следующем письме:

Если у тебя нет от меня никаких известий, это не означает, будто у меня нет времени или желания написать тебе; я веду достаточно праздный образ жизни и очень часто о тебе думаю; но не жди подробного отчета о том, что именно со мной приключилось, время для такого объяснения еще не пришло; единственное, что я могу сообщить тебе прямо сейчас, — с моей стороны это в некотором роде реванш.

Если Рочестер был дьяволом, в котором, «копнув поглубже, можно ангела найти», то его мать была доброй женщиной с изрядным запасом прямо-таки сатанинской злобы. Через пять лет после смерти Рочестера, в семидесятилетнем возрасте, она дала полную волю этому чувству, обрушившись к тому же на жертву, которую облюбовала заранее. Ее внучка, миссис Уортон, умерла, оставив все состояние мужу-священнику, которого старая леди Рочестер и презирала, и ненавидела. «Такого мерзавца, такого уroda, как этот, земля еще не рождала». Она обвинила свежее испеченного вдовца в том, что тот подделал завещание новопреставленной жены. «Уортон умеет имитировать ее почерк, и ее бывшая сиделка умеет тоже». Предъявленные ею обвинения звучали на грани безумия:

Давным-давно он заразил ее сифилисом и даже не удосужился сообщить ей об этом; он завел себе женщину на стороне и прижил с нею детей; в последние три года ее жизни он ни разу не выполнил супружеского долга, и хотя она долгими часами стояла перед ним на коленях, умоляя сказать, в чем именно она провинилась, он этого так и не сделал до самой ее смерти.

Одна из причин этой ненависти совершенно очевидна. «Я слышала, что он водится с Фэншоу и обзавелся благодаря этому кое-какими связями при дворе, но эти связи должны быть жалкими, потому что и сам Фэншоу человечиска никудышный, ни на что, кроме мелких пакостей, не способный». Фэншоу дружил когда-то с Рочестером, он посетил поэта, когда тот лежал при смерти, и распустил впоследствии слухи о том, что Рочестер перед самой кончиной сошел с ума и что его пресловутое покаяние было на самом деле не более чем «меланхолической блажью». Этому она Фэншоу никогда не простила. После того как на Уортон обрушился с ее стороны целый град обвинений, вряд ли стоило удивляться еще одному, высказанному ею в письме к своему внуку, лорду Личфилду: «Мне хотелось получить от покойной дочери Уортон только миниатюрный портрет моего сына Рочестера в шкатулке шагреновой кожи, но мистер Уортон отказал мне даже в этом».

Она была жалкой старухой, но вместе с тем искусной и опасной интриганкой и, несомненно, делит с леди Уорр ответственность за большинство несчастий, обрушившихся на Рочестера и Элизабет Малле в семейной жизни. Неприязнь молодой леди Рочестер к старой проскальзывает как минимум в одном письме, написанном, по-видимому, в Инморе. Элизабет, должно быть, не без облегчения покинула Эддербери, оставив детей, включая леди Анну, на попечение свекрови, а та, дождавшись приезда Рочестера, не преминула воспользоваться удобной возможностью настроить сына против невестки новыми рассказами про нее. Элизабет пишет мужу:

Последнее письмо, полученное мною от Вашей светлости, оказалось настолько скандальным, что я и не знала, как на него ответить. Поэтому я решила написать леди Анне Уилмот с просьбой заступиться за меня, но сейчас, когда Вы, к вящей радости, вновь удостоили меня своей милостью, я опять-таки воздержусь от подробного объяснения, потому что очень скоро мы с Вами свидимся воочию. А до той поры я препоручаю матушке, которая наверняка этому только порадуется, заботу о моих детях, о моих фармацевтах, о моих собачках и обо всем остальном, что принадлежит мне, — и пусть она распоряжается этим по своему усмотрению. И только если мне непременно и срочно потребуется что-нибудь [из оставленного в Эддербери], я, как правило, с не присущей мне настойчивостью обращусь к ней с просьбой поделиться со мною; вероятность чего, впрочем, крайне мала. Остаюсь ее вечной должницей, Вашей покорной женой, и все такое прочее.

Может быть, старая леди Рочестер обвиняла невестку в том, что та уделяет больше времени собачкам, чем детям, а значит, не в состоянии воспитать их как следует? Если так, то ее злая воля в конце концов взяла верх, потому что в завещании лорда Рочестера, наряду с прочим, значится:

В обеспечение счастливого согласия между моей дражайшей матушкой и моей дражайшей супругой, я назначаю их обеих опекунами моего сына до тех пор, пока ему не исполнится двадцать один год; эта воля сохраняет силу только в том случае, если моя супруга не выйдет замуж вновь и продолжит жить под одним кровом с моей матушкой; в противоположном же случае право на опеку она утеряет.

Таким образом он лишал обеих женщин возможности разлучиться и после его кончины. Элизабет нельзя было вновь выйти замуж, да и внебрачные связи ей были заповеданы тоже — об этом (как и при жизни самого Рочестера) должна была позаботиться свекровь. Однажды он написал жене с юмором, не исключено, только вуалирующим жестокою правду:

Убежать, как мошенник, не попросившись, — это, дражайшая женушка, поступок невежливый, которого порядочный человек должен был бы стыдиться. Я бросил тебя на потраву твоему собственному воображению, среди моей родни (а это худшее из проклятий), но придет и час избавления. А до той поры, да смилуйся над тобою моя матушка. Так что я оставил тебя на заклятие — женщину с женщиной, жену с матерью — в надежде на скорое воссоединение в силе и славе.

Что же касается степени обоснованности его ревности, в надежде разжечь которую старая леди Рочестер призвала на помощь собственное воображение, то не содержится ли некий намек на возможную ее причину в вышеприведенном письме самой Элизабет? Она оставила во власти у свекрови своих собак, детей и «фармацевтов». Старая леди Рочестер сидела в Эддербери в последние годы жизни не только сына, но и невестки, которая, пережив мужа лишь на год, умерла, как засвидетельствовано, «от апоплексии». Ее здоровье, должно быть, шло на убыль постепенно; она окружила себя «фармацевтами» (то есть лекарями-шарлатанами вроде того, повадки которого когда-то пародировал ее муж). И, не исключено, один из «фармацевтов» и стал героем наветов свекрови. Рочестер и сам был смертельно болен; в 1678 году появилось не столько ошибочное, сколько преждевременное извещение о его кончине. Он рано стал импотентом, а человек, не могущий доставлять удовольствие сам, порой склонен предполагать, что радость, которой он обделяет, непременно будут искать — и найдут — где-нибудь в другом месте. Это, кстати, расхожий сюжет театральной комедии эпохи Реставрации. «Какая, однако, невероятная обуза быть мужем красавицы!» — восклицает Женолиз в пьесе «Старый холостяк» и слышит в ответ: «Ни в коем случае, сэ, если вы сами что-нибудь можете. А вот если не можете, тогда — да; это все равно что купить прекрасный дом и, не живя в нем самому, напустить туда постояльцев».

Определенно известно лишь то, что переселение матери Рочестера в Эддербери все же не привело к полному разрыву между супругами. Нежность порой исчезала из его писем, но всегда ненадолго. «Боюсь, мне придется поехать в Лондон, — написал Рочестер жене однажды на Рождество (по-видимому, из Вудстока), — и заранее пеняю себе, что не возьму с собой тебя; но зато, в отсутствие здешних распутников, ты сможешь в тишине и в спокойствии провести святые дни в Эддербери».

«Распутники» (как и соответствующая собственная репутация) надоедали поэту все сильнее и сильнее. Чем более немощным становилось его тело, тем отчаяннее алкал он тишины и покоя. «Мир» (наряду с любовью и истиной) — ключевое слово в его самых знаменитых любовных стихотворениях. Наверное, это письмо было написано в конце 1677 года, потому что в октябре или ноябре этого года он в течение двух недель принимал в Вудстоке герцога Бекингема, а 17 декабря все еще оставался вдали от Лондона, что подтверждается письмом

Сэвила: «Все грешники Англии, кроме тебя, съехались нынче в столицу». И в том же году Рочестер с горечью назвал себя «человеком, которого вошло в великую моду ненавидеть».

Его репутация губила его, шагая впереди самого Рочестера. 5 июня Гарри Сэвил написал из Лондона своему брату, лорду Галифаксу:

А еще прошлым вечером за дерзкие слова закололи Дюбуа, французского повара из Мэлла. Сделал это некий мистер Флойд, но поскольку лорд Рочестер и лорд Ламли ужинали в той же харчевне, пусть и в другом помещении, и в совершенно иной компании, наша добрая молва весь день твердит о том, что убийцей был Рочестер. Поэтому он попросил меня написать тебе, чтобы ты пресек распространение этой клеветы хотя бы на севере страны, ибо, как он выразился, если слух докатится до Йорка, опровергать его потом придется года два-три.

А 16 октября Сэвил сообщил Рочестеру еще об одном навете, на сей раз восходящем к некоему безобидному эпизоду, случившемуся в сельской местности:

Меня побуждают к спешке противоречивые сведения о твоём вроде бы окончательно пошатнувшемся здоровье: я хочу знать всю правду, причем из первых рук; только ты один способен поведать о себе истину, тогда как весь остальной мир не только охотно верит любой лжи, распространяемой о тебе, но и сам придумывает ее; так и поступают, в частности, твои мнимые друзья, рассказывая всем и каждому небылицу, основанную на твоём последнем приключении, и пытаюсь убедить нас, людей серьезных, в том, что ты совершенно распоясался как в нравственном, так и в буквальном смысле и сверкнул голой жопой, что, разумеется, кажется человеку вроде меня, столь восхищающемуся и тобой, и твоими талантами, категорически невозможным. В конце концов, если ты не простудился и не заболел после такой скачки, разве это не опровергает всей остальной лжи, связанной с этой историей? Впрочем, клеветников этим не остановишь, а слухов о твоей светлости и о приключениях весьма сходного характера ходит столько, что единственный способ пресечь эти разговоры (способ, которым ты до сих пор ни разу не пренебрег) заключается в том, что ты должен прибыть в Лондон сам.

В ответе Рочестера, разъясняющем случившееся недоразумение, сквозят, однако же, нотки нарастающего раздражения собственной дурной репутацией:

Что же до таинственного события, о котором ты прослышал, сиречь до беготни в голом виде, то правды в этом только то, что мы поздней осенью искупались в реке, а потом устроили на лугу пробежку ярдов на сорок, чтобы просохнуть. Неужели ни король, ни герцог не делали этого сами? Да и лорд-канцлер с архиепископом, когда они были подростками? Неужели в нежном, отроческом возрасте один из них уже ораторствовал, как Цицерон, а другой — проповедовал, как Блаженный Августин? Конечно, ведь они куда лучше выглядели бы в смиренных рубашках, нежели в одежде Адама (которая, увы, не слишком к лицу и мне), причем не только сейчас, но и когда были в самом мужском соку. А теперь, мистер Сэвил, раз уж тебе нравится называть себя серьезным человеком и перечислять всех скандализированных моим поведением могущественных особ, изволь-ка вспомнить лето Господне 1676-го, когда двое жирных мужиков в чем мать родила затеяли пляску у фонтана Розамунды, а несчастная обесчещенная нимфа плакала в три ручья, наблюдая их бессильно поникшие мужские достоинства, которые выглядели совсем иначе в ветхозаветные дни ее возлюбленного Гарри II...

История, во всей своей ничтожности, получила дальнейшее развитие; в частности, Роберт Харли не без возмущения написал своему отцу, сэру Эдварду Харли, о том, что мистер Мартин сообщил ему подробности «безобразия, учиненного лордом Рочестером, лордом Лавлейсом и еще десятком мужчин, которые в субботу в Эстингтоне бегали по Вудсток-парку совершенно голыми». А окончательная — и самая завиральная — версия попала на страницы «Воспоминаний» Хирна:

Этот лорд... имел обыкновение время от времени бегать голым в компании себе подобных; особенно же отличились они однажды воскресным днем в Вудсток-парке, ожидая, что со всех сторон поглазеть на них сбегутся дамы, однако же никто из особ прекрасного пола так и не появился. Мужчина же, которому они отдали поддержать одежду, включая исподнее, не только не вернул ее им, но и скрылся с украденным, пока они бегали.

Вид Вудстока[64]

Цитаты из писем Рочестера жене уместно дополнить и завершить еще одной (как всегда, недатированной, но про это письмо можно с известной долей уверенности сказать, что оно написано в самом конце 1678 года или в начале 1679-го):

Дорогая жена, у меня нет для тебя новостей, но от Лондона я очень устал, а по тебе соскучился; однако ситуация обострилась сейчас столь всесторонне, что стоит лишь подставить спину, как на тебя тут же нападают сзади и волокут вешать; все достойные люди избегают поэтому малейшей неосторожности; точно так же ведет себя и твой покорный слуга Рочестер.

В канун Михайлова дня (29 сентября) некий Тит Отс, сын анабаптистского проповедника и человек напыщенный и невежественный, изгнанный с должности военно-морского капеллана за содомию, обратился в Тайный совет с рассказом об иезуитском заговоре с целью убить короля, в который якобы оказались вовлечены многие из власть имущих. 17 октября некий мистер Дентон написал сэру Ральфу Вернею о том, что «сэр Эдуард Берри Годфри, выходя утром из дому в субботу, 9-го числа, наказал слугам отвечать всем, кто будет о нем спрашивать, что он вернется домой к ужину, и с той поры бесследно пропал». Годфри был мировым судьей, которому Отс, прежде чем обратиться в Тайный совет, сообщил под присягой всё, о чем он намеревался рассказать членам совета. Тем же вечером, когда Дентон писал свое письмо, тело Годфри, заколотого собственной шпагой, было найдено в сточной канаве неподалеку от церкви Святого Панкрата, однако впоследствии было доказано, что убит он был возле самого Сомерсет-хауса.

Это убийство положило начало террору. Никто, как написал Рочестер, не мог подставить спину из страха угодить на эшафот. Бедлоу, правая рука Отса, в декабре 1678 года похвалялся задушевной дружбой с Бакхерстом, Рочестером и Сидли. Должно быть, это была всего лишь ситуативная провокация умного интригана, старающегося ввести в заблуждение собеседника; страх, в котором жил в эти дни Рочестер, доказывает, что он не водил дружбу с осведомителями, захватившими власть в стране. Он не был охотником и имел все основания опасаться того, что окажется дичью. И Лондон, и всю страну захлестнула пелена ярости и фальши; насмерть перепуганы были даже люди, на совести у которых было куда меньше грехов, чем у Рочестера; эти страхи подкреплялись скорым судом и смертными приговорами. Подлинный смысл происходившего в эту темную пору остается неясен даже сейчас; когда маятник качнулся в другую сторону и вчерашние преследователи превратились в преследуемых, многие из них умирали, не ведая, за какую провинность их наказывают, — точь-в-точь как их недавние жертвы. Непреложным остается лишь возвышенно прекрасный и вместе с тем безучастный приговор Бернета: «Последнее слово умирающих противопоставлено последнему слову страждущих; и этот туман всеобщей неопределенности не рассеется до тех пор, пока не станут великой явью все тайны прошлого».

Годфри, возведенный в рыцарское достоинство за отвагу, проявленную в годину чумы, и всю жизнь отличавшийся умеренным протестантизмом, но никак не более того, вдруг оказался канонизирован фанатиками. Но его дух взывал вовсе не к отмщению.

Некая мисс Лам, родственница епископа Илийского, находясь в саду Сомерсет-хауса вместе



с двумя подругами, в ответ на их просьбы принялась петь — и запела она песню, в которой были слова: «Милости кровоточащим ранам». А на лестнице, отделенной от сада лишь стеклом, внезапно появилась высокая фигура, облаченная в саван. Женщины, перепугавшись, бросились в дом. У них спросили, что их так устало, и они объявили причиной явление призрака. Человек девять принялись высматривать его через стеклянную стену, но ничего не увидели. Девушку попросили спеть заново, но, когда она вновь произнесла роковые слова, все присутствующие с изумлением увидели тот же призрак.

О том, что у Рочестера были особые причины для тревоги, мы узнаем из отчета Бернета о его смерти, в котором есть несколько совершенно загадочных строк:

Он сказал мне, что с огромным удовлетворением приобщился Святым Тайн и что его радость только усилилась, когда вместе с ним причастилась его жена, за несколько лет до этого попавшая под влияние папской церкви, чему он, увы, и сам изрядно поспешествовал, в чем сейчас, не таясь, признался. Так что едва ли не главной отрадой в нынешнем бедственном положении стало для него исправление тяжкой ошибки, допущенной при его активном участии.

Предполагают, что Рочестер побудил жену обратиться в католичество по политическим соображениям — с тем, чтобы войти в ближний круг герцога Йорка. Это и впрямь наиболее вероятно. Конечно же, сам Рочестер никогда не выказывал склонности к католицизму. В «Истории безвкусицы» он предостерегал Карла от его младшего брата и от религии, которую тот исповедует, тогда как стихотворение «Римское отпущение» доказывает, что как минимум в

этой Церкви он душевного успокоения не искал:

Раз Римской церкви нас дано прощать

И раз прощенье можно покупать,

Не проще ли Мамону в храм призвать?

Когда, с чего и как сие пошло?

Кто первый начал деньги брать за Зло?

Христос преподавал это ремесло?

Некоторые из обстоятельств обращения леди Рочестер в католичество известны. В этой истории, дразнящей воображение своими лакунами, на первый план выходит неоднозначная фигура перебежчика-протестанта Стэнли Колледжа. Этот «деятельный и темпераментный человек», по свидетельству Бернета, часто злословивший о короле, пал первой жертвой гонений на Отса и его последователей-антипапистов, начавшихся после роспуска так называемого Оксфордского парламента. Ему предъявили целый ряд заведомо вздорных обвинений, включая заговор в целях умерщвления короля и насильственной смены правительства. Доказательства были столь ничтожны, что коллегия присяжных признала его невиновным. После чего новый суд назначили уже в Оксфорде, чем ясно дали понять и свидетелям, и судьям, что сам король желает обвинительного вердикта. Впрочем, риск

нового оправдательного приговора оставался — и связан он был с безупречным протестантским прошлым подсудимого, тогда как обвинение стремилось прежде всего дискредитировать Колледжа в глазах его единоверцев. Именно в этом контексте и выплыла на поверхность его странная связь с Рочестером. Леди Рочестер к этому времени уже умерла тоже, и факты, связанные с ее переходом в католичество, начали по одному проскальзывать в выступлениях отдельных участников судебного процесса.

24 августа 1681 года некий Ричард Кросс написал из Терлокстона под Тонтоном сэру Лайонелу Дженкинсу:

Вы высказали желание, чтобы полковник Хаули и я сообщили Вам, что именно нам известно о высказываниях покойной леди Рочестер относительно того, что Колледж является папистом. За день до того, как ее окончательно свалил недуг, она сказала, что абсолютно уверена в его приверженности католицизму. Еще она вроде бы говорила то же самое за столом у леди Уорр. Сэр Фрэнсис Уорр осведомлен об этом куда лучше нашего. К этому письму я прилагаю другое, написанное Уильямом Кларком из Сэндфорда, в последнее время являющимся членом суда графства, но не оставившим и своей прежней должности управляющего именем лорда Рочестера, в котором он сообщает, в чем именно признался Колледж лично ему.

Виселицы на Тайберне, месте публичной казни в Лондоне[65]

Итак, Уильям Кларк пишет Ричарду Кроссу:

Я не знаю, был ли Колледж папистом, но слышал от него именно это; кроме того, находясь на протяжении четырнадцати лет, начиная с военных походов, на службе у графа Рочестера, он, по распоряжению последнего, привел к леди Рочестер католического священника Томсона, чтобы тот обратил ее в католичество, и так оно, после нескольких продолжительных бесед с Томсоном, и случилось. Мне кажется, именно поэтому она и считала его папистом; да и многим другим он говорил то же самое, и если понадобятся живые свидетели, то за ними дело не станет.

Еще один фрагмент той же мозаики обеспечил некто Томас Харрис из Гластона, Сомерсет. В 1677 году на Михайлов день он жил у трактирщика Томаса Питера на Уичстрит. Однажды воскресным вечером туда пришел человек, назвавшийся Колледжем, и завел разговор о лорде и леди Рочестер, причем жену он невероятно расхваливал, а мужа всячески поносил.

Я сказал ему, что слышал, будто леди стала паписткой. Он спросил меня, что такое, на мой взгляд, папист. Я ответил, что это человек, поддерживающий доктрину Римской церкви. Он же принялся яростно настаивать на справедливости этой доктрины, обещая мне назавтра принести книги, опровергающие все аргументы ее противников. Также он сказал мне, что зовут его не Колледж, а Коллеж и что он служил у лорда Рочестера в Инморе.

Колледжа приговорили к смерти и казнили; и это была смерть невинного человека, последняя в длинном ряду, ответственность за которую отчасти лежит на Рочестере.

X

Литературные джунгли

«И вот я протомился семью долгими и медленными годами желания» (Томас Отуэй в письме мисс Барри)[66]

Звезда Дориманта взошла ненадолго. Ко времени, когда в 1676 году был написан и поставлен «Сэр Шарм Шаркун», Рочестеру исполнилось всего-навсего двадцать девять лет, но самая яркая пора его жизни уже миновала. Существование Рочестера во второй половине семидесятых больше всего походило на температурную кривую в изголовье у смертельно больного человека; правда, этот пациент видел свою кривую и понимал ее смысл. Восемнадцатилетнего героя Бергена 1665 года через каких-то десять лет осмелился обвинить в трусости (пусть и без достаточных на то оснований) не отличавшийся благородством Малгрейв. Год спустя скандал в Эпсоме и смерть Даунса позволили (вероятно, Томасу Д'Орфи) сочинить о нем такую песенку:

Расступись!

Идет вояка!

Грозен рык ночного льва!

От вина и карт, однако,

Закружилась голова.

Исключением из правил

Не был нынешний урок:

Друга драться он заставил

И, как заяц, прочь утек[67].

Молодой человек, десять лет назад пытавшийся похитить мисс Малле из-под носа у назойливых опекунов, теперь стал завсегдатаем целительных «ванн» мисс Фокар и отчаянно разочаровавшимся любовником мисс Барри.

Драматург Натаниэл Ли, через несколько месяцев после смерти Рочестера, вывел его в 1680 году в одной из пьес под именем Розидора: «Сплю я или бодрствую, но подавай мне вина, но подавай мне девок!» Однако на исходе семидесятых, предчувствуя скорую смерть (а умер поэт каких-то тридцати трех лет от роду), Рочестер не только ожесточился, но и впал в глубокую задумчивость. Возможно, самым трогательным его стихотворением является заведомо иронический «Отставной вояка» со смутными аллюзиями на битвы при Бергене и в Ла-Манше и с шумной бравадой, оборачивающейся в заключительном четверостишии грустью и горечью:

Как отставной, но бравый адмирал

С огромною подзорною трубой  
Спешит проинспектировать со скал  
В морской дали наметившийся бой,

Не доблести, а должности лишен,  
За схваткой с пониманием следя,  
Не отрицая, прокликает он  
Почетный статус бывшего вождя...

Так дни мои, вне страсти и вина,  
В пожизненном бессилии текут  
И вынесла коварная волна  
На стылый берег старческих причуд.

А все же передышка настает  
(Иначе б я в мученьях изошел!),  
Когда бутылей боевитый флот  
Плывет под канонаду рифм на стол.

Я знаю: раны, шрамы и рубцы  
Не отпугнут от моря молодежь,  
А новобранцам я гоюсь в отцы,  
Пусть для отцовства стал, увы, не гоуж.

Иной и не захочет с нами плыть,

Во мне дурной увидев образец,  
Но, чтобы жалким трусом не прослыть,  
Он выпьет — и сопьется под конец.

А если кто другой блюдет мораль  
И брезгует огнем ночных атак,  
Я укажу ленивцу на пицаль  
И подскажу, куда палить — и как.

Я расскажу о том, как напролом,  
За домом — дом, берутся города,  
Как стекла бьем, как дверь с петлей дерем,  
Каких трофеев ищем мы тогда.

И, распаленный винами и мной,  
На приступ в первой шлюпке он пойдет —  
Лачуги не пропустит ни одной,  
Возьмет бордель и церковь в оборот.

А я — в шатре бессилья своего —  
Благословлю безумные дела;  
Ведь мудрость мне — и больше ничего —  
Отставка по болезни принесла.

В абсолютно другом духе выдержано сравнительно раннее стихотворение «Несовершенное наслаждение», трактующее тему временной импотенции:

Предстала обнаженною она.

Я был влюблен, она была нежна.

Сражения мы ждали в равной мере,

Заранее готовы на потери.

Коринна, в предвкушении забав,

К упругим персям грудь мою прижав,

Язык из уст в уста ко мне заслала —

Гонцом, с которым пылко оглашала

Любви незамедлительный указ:

Не здесь идти на сечу, но сейчас!

Душа моя, с лобзаньем и объятьем,

Парила, припадая к пышным статям,

Но прежде чем Коринна, не спеша,

Туда ввела, где тоже есть душа,

В победный бой рванувшуюся рать,

Я кончил всё, что не успел начать!

Хватило мне простых прикосновений

Ее боков, и ляжек, и коленей,

И взгляда с высоты холма в обрыв...

Смешком за торопливость осудив,

Прильнула пуще прежнего Коринна,

Шепча меж ласк: «Мужчиной будь, мужчина! —

И плача: — Восхищенью отдал дань,

Ну а теперь — для наслажденья — встань!»

А я, в ответ на это изобилье,

Не чаял распахнуть былые крылья,

Лобзая лишь затем, чтоб скрыть бессилье.

Я всё еще желал ее — умом;

Я знал: загвоздка лишь во мне самом —

И стыл я, брюхом вверх, как снулый сом.

Персты Коринны дивно деловито  
(Способные смутить и еремита,  
И в скалах высечь звонкие ключи),  
Но тщетно ворошили прах в печи.  
Дрожа, стыдясь, тоскуя и горюя,  
Я знал: холодным пламенем горю я!  
Ведь то, что было раньше как алмаз,  
Десятки стекол рассекавший враз,  
Та кровью девства смазанная шпага,  
Та сок из ран сосавшая бодяга,  
Предмет, в любви не ведавший преград,  
Не разбирая, перед или зад,  
Паж или дама, девка иль прелат,  
Всегда со всеми твердо одинаков —  
Теперь свернулся, словно кот наплакав!  
Растратчик, дезертир и мародер  
Съел страсть мою, питая свой позор.  
Чьи чары, чье бесовское заклятье  
Развратника поймали на развороте?  
Какая из последних потаскух  
Повинна в том, что светоч мой потух?  
Какая стародавняя погрешность  
Вдруг выплеснулась в слабость и поспешность?  
Как площадной буян и горлопан  
Прохожих задирает, зол и пьян,  
И всех храбрее выглядит как будто,  
Но, чуть война случится или смута,  
Он, трус, не кажет носа из закута —  
Так мой предатель громче всех орал,  
Был в уличной возне весьма не мал,

А здесь, заслышав зов, на бой не встал!  
Бич горожан, любимчик горожанок,  
Теперь пиявок требует он, банок.  
Ну нет уж! Если вдруг не можешь ввысь —  
Как боров, ляг в грязищу — и усрись!  
Да чтоб тебя всего разворотило!  
Да чтоб ты с кровью слил свои белила!  
Да чтоб тебя на плаху, под топор!  
Да чтоб твои заряды — на запор!  
Коринне же, невинной до сих пор,  
Соитий пожелаю полновесных  
С десятком тысяч скотников окрестных.

2

Ничто так не повредило репутации Рочестера в глазах потомства, как его разрыв с Драйденом и инцидент в Аллее Роз, в ходе которого на Драйдена набросились наемники с дубинками. Это произошло меньше чем за год до смерти Рочестера, и если он и раскаивался в содеянном, то примечательно, что никаких следов раскаяния в его диалогах с доктором Бернетом найти нельзя. Так, может быть, он не чувствовал за собой вины? Вряд ли лорд Рочестер вызвал бы на дуэль жалкого «мистера» Драйдена из кофейни Уилла. Незримый суд присяжных не вынес Рочестеру приговора, но даже если бы этот приговор звучал как «Виновен!», умирающий поэт мог бы обратить внимание суда на смягчающее его вину обстоятельство: его спровоцировали, причем провокация, очевидно, была нешуточной. Нападение имело место 12 декабря 1679 года, а 26 июля 1680 года Рочестер умер у себя в Вудсток-парке.

Для нас Джон Драйден — одна из крупнейших фигур в истории английской литературы и, бесспорно, первый поэт эпохи Реставрации. Личный враг Драйдена кажется с сегодняшней колокольни кем-то вроде жалкого драмодела-дилетанта Грина, завистливо порицавшего театральные успехи «выскочки Шекс-партера». Но лестное для поэта прозвище «честный Джон» скрывает от глаз потомства многие слабости Драйдена, совершенно очевидные современникам. Он был начисто лишен того, что мы назвали бы величием духа. У него не было той веры в собственное творческое всемогущество, которая позволила Джону Мильтону общаться исключительно с Раем и Адамом. Не удовлетворенный одной только поэтической славой, Драйден стремился прослыть острословом, задирой и щеголем; человек низкого происхождения и вместе с тем крупнейший драматург своего времени, он зимой и летом величаво восседал в кофейне Уилла, пленяя тамошних чаровниц каламбурами и остротами,



и — в доступной ему мере — получал вознаграждение, залезая к ним под подол.

Рочестер рано сдружился с Драйденом, если, конечно, прав Мэлоун и Рочестер действительно приложил руку к провозглашению Драйдена поэтом-лауреатом в апреле 1668 года. В посвящении к пьесе «Модный брак» (1673) Драйден констатирует: «Вы позаботились не только о моей репутации, но и о моем благосостоянии». И нет сомнений в том, что Драйдену и впрямь было за что благодарить Рочестера. Его пьеса «подверглась доработке Вашей благородной рукой, прежде чем оказалась готова для сцены». Подобная доработка со стороны признанных придворных остроумцев была в те дни распространенной практикой. Сэр Чарлз Сидли помог Шедуэллу при написании «Эпсомской ярмарки», а единственный дошедший до нас фрагмент пьесы, написанной Рочестером не стихами, а прозой, свидетельствует о таланте комедиографа, вполне сопоставимом с одаренностью автора «Модного брака». Вклад Рочестера в успех спектакля по этой комедии подтвердил и сам Драйден:

Не сочтите для себя за труд вспомнить Вашу благосклонность к автору и снисходительность к пьесе, проявленные Вами в беседе с Его Величеством в Виндзоре, а затем, после августейшего одобрения, вылившиеся в целый ряд замечаний и поправок, которые обеспечили спектаклю хороший прием просвещенной публикой.

Джон Драйден: «Вы позаботились не только о моей репутации, но и о моем благосостоянии» (посвящение Рочестеру к пьесе «Модный брак»)[68]

Далее Драйден благодарит Рочестера за защиту от злобных нападок со стороны тех, кто «не будучи в силах сами создать что-нибудь заслуживающее внимания, всячески изощряются в неодобрительных критических отзывах, призванных на самом деле хоть как-то замаскировать гложущую их зависть». Та же тема звучит чуть ли не у каждого драматурга из числа тех, кто посвящал свои пьесы Рочестеру; его вкус слыл если и не образцовым, то образцово современным, а значит, раскритиковать уже одобренное им произведение означало бы разоблачить себя либо как стародума, либо как скородума.

Посвящение заканчивается похвалой Драйдена стихам Рочестера:

У меня достаточно самоуважения, чтобы, ознакомившись с некоторыми Вашими стихотворениями, препятствовать Вашему выходу на театральные подмостки в качестве комедиографа; я не из тех, кто, будучи ранен на дуэли первым же выпадом, спешит объявить, будто он получил полное удовлетворение. И все же Вашей светлости достаточно сделать один-единственный шаг, чтобы из покровителя насмешливых муз превратиться в их властителя и тем самым пошатнуть нашу небольшую профессиональную репутацию с еще большей легкостью, чем Вы ее теперь создаете и защищаете.

Драйден очень продуманно выбирает выражения, и едва ли хоть одно слово здесь произнесено искренне, но все же в последовавшем обмене репликами (Рочестер поблагодарил Драйдена за посвящение, а тот его, в свою очередь, — за эту благодарность) маска была на миг сброшена и приоткрылось подлинное лицо. Имея в виду успех одной из его пьес в Оксфорде, Драйден выразился так: «Ваша светлость и сами знают, как легко снискать восхищение в университетских кругах и какую смехотворную лесть там приходится выслушивать». Смехотворная лесть была тогда в порядке вещей, покровители искусств требовали ее, а театральные деятели на нее не скупались — но и не скупались они на нее очень по-разному. Достаточно сравнить подобострастный панегирик Драйдена Рочестеру в тысячу пятьсот слов (посвящение «Модного брака») с дюжиной стихотворных строк, в знак признательности Рочестеру предпосланных Шедуэллом пьесе «Горемычные любовники», хотя в обоих случаях речь идет о благодарном повизгивании пса, только что получившего

сахарную косточку.

Почти одновременно с Драйденом покровительства Рочестера добился Илканах Сеттл — самый плодовитый и, наверное, самый бездарный автор трагедий эпохи Реставрации; в 1671 году граф добился того, чтобы трагедия Сеттла «Императрица Марокко» была сыграна при дворе. Если «Завоевание Гренады» продемонстрировало до каких (тоже не бог весть, но все же) высот может подняться стихотворная трагедия, написанная «героическим куплетом», то пьеса Сеттла показала, как низко дано ей бывает пасть. Главный комизм заключался в том, что Сеттл, пусть и непроизвольно, пародировал Драйдена в той же мере, в какой Бекингом сделал это сознательно, написав и поставив тою же зимой в Друри-лейн пьесу «Репетиция» с великим комиком Джо Хайнсом в роли поэта Байеса.

В том же году дебютировал еще один литератор, который, в отличие от Драйдена и Сеттла, так никогда и не утратил благосклонности Рочестера. Весной 1671 года Уичерли, став любовником герцогини Кливленд, в ужасе ожидал возмездия со стороны покинутого ею ради него герцога Бекингема.

Поэтому он обратился к Уилмоту, графу Рочестеру, и к сэру Чарлзу Сидли с просьбой заступиться за него перед герцогом Бекингом как за человека, лично не знакомого с герцогом и ничем его честь не задевшего — и тем не менее ухитрившегося навлечь на себя его гнев. Когда ходатаи обратились к самому герцогу, тот с напускным негодованием ответил, что ничего не имеет против Уичерли как человека и гневается на него исключительно как на собственного двоюродного брата. Почувствовав, что герцог лукавит и втайне замышляет какую-то интригу, заступники Уичерли сказали ему: «Ваше высочество собираются погубить человека, личное общение с которым наверняка доставило бы Вам истинное наслаждение». И таким ангелом изобразили они Уичерли, столько невиданных и неслыханных достоинств у него обнаружили, что герцог, в одинаковой мере ценивший и острые умы, и родственные узы, не успокоился, пока Уичерли не был приглашен на совместный ужин в трактире, что произошло дня через два-три после заступничества. Отужинав с Уичерли, который был тогда на пике физических возможностей и умственных способностей, да вдобавок особенно старался понравиться герцогу, Бекингом был настолько очарован, что уже в карете на обратном пути воскликнул: «Клянусь Б-гом, пусть мой двоюродный братец е.ет кого хочет!» — и с этого мгновения подружился с человеком, которого считал своим счастливым соперником на ложе герцогини Кливленд.

Об Уичерли Рочестер написал не без пренебрежения:

Комедии английской короли

(Хоть королевство всё — клочок земли) —

Злой Шедуэлл и мямля Уичерли...

...Наш Уичерли скрипит себе пером,

Где высидит, а где возьмет умом;

Умишко слаб, а жопа велика —

И все ж он лучше всех наверняка!

Следующим в окружение Рочестера попал в 1672 году Джон Краун — недурной комедиограф, но автор отчаянно плохих трагедий, которым он сам, однако же, придавал не в пример большее значение. Внимание Рочестера он привлек к себе стихотворным посвящением «Карлу VIII».

Странная это была троица, дожидаящаяся в приемной общего покровителя, — чопорный щеголь Джон Краун, Джон Драйден и Илканах Сеттл... Сеттл — писатель чудовищной плодовитости и человек фантастической предприимчивости, до конца своих дней занимавшийся машинерией аттракционов на ярмарке св. Варфоломея и уже глубоким старцем, нацепив на себя зеленую шкуру и применяя на практике множество технических трюков собственного изобретения, игравший дракона в «Георгии Победоносце», — был в этой компании заводилой. Успех «Императрицы Марокко» — полной галиматьи, изобилующей устрашающими спецэффектами — ударил ему в голову. Поддержка Рочестера обеспечила ему популярность у молодежи, и, согласно свидетельству Денниса, он слыл полноправным соперником Драйдена; не только в Лондоне, но и в Кембридже мнения о том, кто же все-таки первый — Драйден или Сеттл, — разделились примерно поровну, причем и там, и тут молодые люди, как правило, предпочитали Сеттла.

«Императрица Марокко» Илканаха Сеттла: «на сцене ставить глупость приказал» (Джон Драйден)[69]

В 1673 году (в том же самом, когда Драйден посвятил Рочестеру «Модный брак») Сеттл опубликовал «Императрицу Марокко» с посвящением, содержащим нападки на Драйдена. Год спустя Драйден ответил стихотворным памфлетом, написанным в соавторстве с Крауном и Шедуэллом. Конечно, включенные в него инвективы едва ли были направлены прямо против Рочестера, потому что и Краун, и Шедуэлл оставались его друзьями, но вряд ли граф, порекомендовавший пьесу Сеттла к исполнению в Уайтхолле, с удовольствием прочитал такие, например, строки:

Наслушавшись изрядных дураков,

Ты сам, ценитель тонкий, стал таков.

На сцене ставить глупость приказал —

И треском стульев отозвался зал.

Не исключено, что именно вследствие публикации этого памфлета Драйден потерял покровителя в Рочестере, главным фаворитом которого теперь стал чопорный щеголь Краун. Может быть, Рочестер исповедовал правило «разделяй и властвуй». Сочинять сценарии балов-маскарадов, которые время от времени устраивали при дворе в Уайтхолле, было привилегией поэта-лауреата, однако в 1675 году Рочестер употребил свое влияние на то, чтобы отстранить Драйдена в пользу Крауна, который тут же разразился «Маскарадом Калисто». Краун был весьма дюжинным драматургом и прекрасно понимал это сам. Его «Предупреждение читателю» живо передает отчаяние, охватившее автора сценария, как только ему была оказана эта неожиданная и совершенно нежеланная честь — он дружил с Драйденом и не собирался подсидывать его: «Будь вещь написана человеком, дважды достойным этого — и по месту проживания, и по уровню поэтических заслуг, — удовольствие,

испытываемой тобой, читатель, было бы куда более полным». Маскарад, однако же, благодаря танцевальным номерам и сценическим эффектам (включая полет спускающихся с небес нимф) прошел успешно. Да и кто бы при дворе осмелился отнестись к нему критически, если заглавную роль Калисто исполнила сама принцесса! Только автор остался не удовлетворен своим детищем; он дорабатывал сценарий даже после премьеры и в конце концов счел для себя необходимым извиниться перед читателем, завышенные — благодаря великолепной постановке Биттертона — ожидания которого наверняка окажутся обманутыми:

Но вы будете разочарованы, вы не найдете здесь ничего, отвечающего вашим завышенным ожиданиям. Чтобы объяснить, почему это произойдет, достаточно сказать, что текст принадлежит мне — и странно было бы, начни плохой писатель, вроде меня, ни с того ни с сего писать хорошо; прискорбнее же всего то, что у меня не хватило времени на то, чтобы полностью собраться с силами, сколь ничтожны они ни были бы, по столь достопамятному случаю. Я получил внезапный, но подлежащий неукоснительному выполнению приказ написать сценарий представления при дворе, причем на написание, разучивание ролей, репетиции и само исполнение было отведено меньше времени, чем того по совести требует одно только написание... Что же касается темы... на ее выбор у меня была всего пара часов... Поэтому я решил выбрать первую же мало-мальски подходящую историю, какая придет мне в голову; и по несчастливой случайности, собственному невежеству и злонамеренной подсказке Фортуны выбрал эту, оказавшуюся, как я тут же с ужасом осознал, задачей потяжелее изобретения философского камня... мне предстояло написать благопристойную, трогательную и безобидную пьесу на материале истории об изнасиловании.

Краун не был фигурой настолько незначительной, чтобы Драйден не испытал укола ревности к чужому успеху. Старик Джейкоб Тонсон отметил:

...даже Драйден относился к соперникам с большой подозрительностью. Он осыпал Крауна комплиментами, когда очередная пьеса того проваливалась, но говорил с ним ледяным тоном, если ее встречали овациями. Порой он признавал за Крауном определенный поэтический дар — и тут же всякий раз добавлял: «А всё потому, что мой батюшка хаживал к его матушке».

Драйден с Рочестером раздружились. Следующая пьеса Драйдена, опубликованная в 1675 году, оказалась посвящена главному врагу Рочестера — лорду Малгрейву. Та же угодливая, та же «смехотворная» лесть была теперь адресована не быломu покровителю, а его смертельному ненавистнику, человеку, обвинившему Рочестера в трусости в связи с несостоявшейся дуэлью. «Повсеместно встречаемый рукоплесканиями», «доблестный муж, удалившийся на покой», «неизменно благорасположенный», «щедрый», «решительный и бесстрашный» — под золотой ливень подобных эпитетов попал тщеславный и вредоносный Малгрейв. Впрочем, здесь же Драйден со злобным рыком обрушивается на не названного им по имени «придворного сумасброда», но высказываемые им обвинения по адресу прежнего мецената выглядят столь же притянутыми за уши, как и славословия нынешнему:

Такие люди подкрадываются к мужам славы и норовят ужалить исподтишка, хотя нанести серьезный ущерб они бессильны; они рабски цитируют чужие остроты в присутствии автора и подло передразнивают его жесты в отсутствие; лишь тем, кто ниже, лишь тем, кто слабее их, отваживаются они предстать в полной своей мерзости; природный ум они почитают своим общим врагом и привечают его ничуть не в большей мере, чем голландцы — британские суда в обеих Индиях; они распускают паруса, когда знают, что их за это похвалят, и убивают, когда им известно, что это может остаться безнаказанным.

«Распускают паруса»? Не слишком удачная метафора в памфлете против человека, столь отважно сражавшегося при Бергене.

1675 год, принесший ссору с Драйденом и возвышение Крауна, подаривший Рочестеру третью дочь и начало романа с мисс Барри, ознаменовался и появлением в его окружении трех новых драматургов — Отуэя, Натаниэла Ли и сэра Фрэнсиса Фейна.

Сэр Фрэнсис Фейн, незначительный и напрочь забытый литератор, привнес в тогдашний воздух (и без того горячий, спертый и насыщенный литературными скандалами) определенный запашок фарса. Пока его отец записывал в будущую антологию фольклора историю о пьяной выходке Рочестера в Тайном саду, сын работал над крайне неуклюжей трагикомедией «Любовь во тьме», которую он позднее посвятит Рочестеру. Он-то, судя по всему, и был из тех, кто рабски цитирует чужие острооты, кто подло передразнивает чужие жесты, выдавая их за собственные, кто, не снимая шляпы, горестно покачивает головой в партере, пока на подмостках играют пьесу нового автора, но не смеет перечить похвалам, высказанным Рочестером, Сидли или Этериджем. Его восхищение Рочестером было облечено в слова, которые едва ли пришлись по нраву их адресату — безбожнику или, в крайнем случае, агностику:

Должен признаться, мне нечем воздать Вашей светлости за чрезвычайно поучительные и вместе с тем совершенно очаровательные беседы со мной, но ко мне снизошло вдохновение, и я сейчас значительно преуспел в дисциплинах, которые в какой-то мере освоил и раньше. Я чувствую себя отныне не только лучшим поэтом, чем прежде, не только лучшим философом, но и — бери выше — лучшим христианином. Фантастическое остроумие и интеллектуальный блеск, присущие Вашей светлости, служат для меня самым неоспоримым доказательством бессмертия души.

Сэр Фрэнсис Фейн в стихах, посвященных Рочестеру — «На сообщение о болезни автора в Лондоне и об исцелении по переезде в деревню, предпринятом по указанию его светлости», — впадает в еще большее преувеличение:

...Проникнись наш прекрасный Альбион,  
Известий полный из заморских стран,  
Обычаем одним чужих племен,  
Чья родина — далекий Индостан,  
Тебе в твой смертный час пошли б вдогон —  
Нет, бросились бы толпы англичан,  
И в час твоих прекрасных похорон,  
Самосожженьем общим озарен,  
Друзей и слуг блаженный караван  
На мили растянулся б... Лондон весь  
И сам король (он тоже был бы здесь)  
Посмертное б общенье предпочли

Унылой жизни от тебя вдали.

Натаниэл Ли, поэт куда более многообещающий, посвятил Рочестеру в 1675 году трагедию «Нерон». Ли закончил свои дни в сумасшедшем доме, куда его, по мнению сэра Сиднея Ли, завела беспутная жизнь в обществе Рочестера и других его покровителей, однако нет никаких доказательств того, что Рочестер как-то повлиял на этого поэта — ни в хорошую, ни в дурную сторону. Стихотворное посвящение к «Нерону» (достаточно краткое и, очевидно, преследующее цель заручиться поддержкой Рочестера против шиканья в партере) — едва ли не единственное свидетельство каких бы то ни было взаимоотношений между ними. К тому же покровительство Рочестера носило откровенно мимолетный характер, потому что всего три года спустя он писал о Ли в таких выражениях:

Когда ярится кроткий Сципион,  
А Ганнибал неистово влюблен,  
Мне хочется вернуть дурашку Ли  
Наставникам, чтоб розгой посекали.

Это один из самых неудачных экспромтов Рочестера, и Ли, похоже, не затаил на него обиды. В «Принцессе Клевской», написанной уже после смерти Рочестера, Ли достаточно трогательно воспеваает его под именем графа Розидора. Немур, встретившись с Видамом Шартрским, восклицает:

Немур:

Печальны вы, милорд. Прошу сюда!  
Вино и девки есть для вас всегда!  
А при дворе, видать, стряслась беда?

Видам:

Оставь, Немур, не время для веселья.  
По свету желчь сплошная разлита.  
Хор старых дев — и тот гремит рыданьем,  
Угрозы девству общему лишась,  
И черной мглою скорбь одела землю.  
Живое воплощенье наслажденья,  
Граф Розидор скончался.

Немур:

Ну и ну!

Сатирик и сатир наш стал скелетом.

Должно быть, доконал его дебош.

Но это точно?

Видам:

Да, я видел тело.

Я видел уготованный червям

Прах высшего величия в гробнице,

Где королям покоиться, как нам.

Немур:

Давай тогда взгрустнем, но всё же выпьем!

Великий Розидор — и вдруг мертвяк?

И гложет плоть поникшую червяк,

А ей не воспротивиться никак!

И Немур, перейдя на прозу, завершает не лишенный некоторой доли иронии панегирик:

Он был само остроумие и с таким искусством покрывал позолотой собственные неудачи, что нельзя было не полюбить даже его грехи. Своих острот он никогда не повторял, разве что в разговоре с разными собеседниками; его несовершенства были пленительны, а ораторский дар столь неотразим, что он был вынужден сознательно приглушать его наигранным заиканьем. Но ах, как омерзительны, как безвкусны, как смехотворно жалки те, кто пытается подражать ему на поэтическом поприще, обладая, может быть, и не худшим слогом, но будучи начисто лишены его ума и блеска!

Натаниэл Ли: поэт в Бедламе[70]

Интересно отметить, что в сцене, непосредственно предшествующей той, что приведена выше, Немур цитирует монолог, вставленный Рочестером в собственную версию «Императора Валентиниана» Флетчера; меж тем сама эта переработка еще не была на тот

момент опубликована:

Поэзией меня ты одурманил!

И как поэт, как сам Ронсар, скажу:

У жен спросите, как себя вести...

Строка «У жен спросите, как себя вести» принадлежит Рочестеру. Интересно, не ошибся ли наборщик, заменив «Розидор» на «сам Ронсар», и читал ли автор «Принцессы Клевской» Рочестерова «Императора Валентиниана» в рукописи?

Последним из поэтов, с которыми Рочестер сблизился в 1675 году, был Томас Отуэй. В глазах потомков он перерос всех своих современников, хотя в случае с Натаниэлом Ли это нельзя признать полностью справедливым. Подобно Чарлзу Лэму, Отуэй бил на слезу, и литература так никогда и не избавилась от его пагубного влияния. Рочестеру не повезло подружиться с Отуэем почти в той же мере, в какой ему не повезло рассориться с Драйденом. Возник любовный треугольник, в котором Рочестеру традиционно отводится роль подлеца-разлучника, женскую роль, естественно, играет мисс Барри, а в образе подлинного героя предстает жалкий, припадочный, постоянно проваливающийся на театре драматург. Читая эту историю в душераздирающем пересказе сэра Эдмунда Госса (горемычный поэт влюбляется в мисс Барри, его отвергают, однако коварный граф в отместку за самопоползновение практически уничтожает незадачливого воздыхателя и выдавливает его из Англии), как-то забываешь о том, что доказательства какого бы то ни было участия Рочестера в происшедшем с Отуэем напрочь отсутствуют.

Факты таковы. В 1675 году Рочестер порекомендовал пьесу Отуэя «Алкивиад» двору, и ее поставили в Дорсетском театре, причем одну из ролей получила мисс Барри. Приведем далее слова самого Отуэя из предисловия к драме «Дон Карлос», в котором он отвечает на претензии, предъявленные его предыдущей пьесе:

Я чрезвычайно удовлетворен тем, что большая часть людей со вкусом и остроумием оказалась на моей стороне; в том числе я прежде всего благодарен графу Рочестеру за невыразимую поддержку, намного превышающую все, чем я могу или смогу хоть когда-нибудь отплатить ему; могло показаться, что он счел едва ли не своей прямой обязанностью представить пьесу в наилучшем свете и королю, и его королевскому высочеству[71], — и обе эти венценосные особы успели выказать мне свое расположение, что меня необычайно воодушевило. Именно графу Рочестеру, как я благоговейно признаю, я обязан самой существенной частью выпавшего на долю пьесы успеха, и с его же снисходительностью по моему адресу я связываю надежды на счастливую судьбу моего следующего сочинения.

Два года спустя (а, как уверяет нас Госс, именно в эти годы Отуэй, ухаживая за мисс Барри, навлек на себя гнев ревнивца Рочестера) он посвящает Рочестеру «Тита и Беренику» — и вновь не скупится на самые льстивые слова: «Ваша светлость рисковали очень многим, постоянно поддерживая несчастного изгнанника, у которого такое великое множество врагов».

[72]

В мае 1678 года Отуэю было разрешено поступить на службу в армию и отправиться в ее



составе во Фландрию. Он вернулся весной 1679 года, «жалкий и вшивый», по слову Энтони Вуда, — в состоянии, которое нашло отражения в строках сатирического стихотворения «Тяжба поэтов за лавры»:

Том Отуэй входит, приятель Шедуэлла,  
И новыми виршами хвалится смело;  
«Дон Карлос» в кармане у жалкого рохли  
Воняет так сильно, что вши передохли.

Именно это стихотворение и повлекло за собой прискорбное недоразумение. Впервые опубликованное через семнадцать лет после смерти Рочестера, оно было атрибутировано как плод совместного творчества Бекингема и Рочестера. И если бы Рочестер действительно принял участие в его сочинении, это означало бы, что между драматургом и его покровителем и впрямь пробежала кошка, однако, как неопровержимо доказал профессор Розуэлл Хэм, подлинным автором стихотворения является Сеттл. Следы размолвки следовало бы поискать где-нибудь в другом месте — хотя бы в стихах самого Отуэя, где под названием «Поэт жалуется своей музе» можно прочитать следующий пассаж:

Раешный стих он первым приглядел,  
Он им вертел в своем «Содоме», как хотел,  
Сатирик-сифилитик, он — назло  
Недугам — Зла освоил ремесло,  
Несло его от злости и несло.

Пьеса «Содом» носит куда более порнографический характер, чем любое другое сочинение, созданное Рочестером или приписываемое ему. На титульном листе рукописи, хранящейся в Британском музее, значится: «Содом, или Квинтэссенция разврата, дистиллированная г[рафом] Р[очестером] в интересах Королевского Корпуса Обер-Ебарей». Считается, что эту пьесу однажды поставили при дворе. Атрибуция, однако же, более чем сомнительна. В обычае времени было приписывать любую похабщину Рочестеру. Современники не были единодушны в признании «Содома» произведением, принадлежащим перу Рочестера; Энтони Вуд сомневался в этом; ему говорили, что пьесу сочинил «какой-то сумасшедший писец из канцелярии Фишборна». Профессор Принц, почти без колебаний объявив автором Рочестера, в подтверждение этого тезиса из авторитетных уст смог сослаться лишь на мнение пресловутого «капитана» Смита. «Содом» отличается от сатир Рочестера принципиальной установкой на ирреальность содержания: это волшебная сказка, пусть и чудовищно похабная; как это ни странно и ни забавно, кое в чем напоминающая «Кольцо и розу» Уильяма Теккерея. Тем, кто считает автором «Содома» Рочестера, поневоле приходится отказать ему в авторстве стихотворения «Драматургу, сочинившему "Содом"»:

Не кавалер, а жалкий живоглот,

Кому и шлюха Муза не дает,

Покуда он ее не посетит.

Вот и все доказательства ссоры между двумя поэтами. Что же касается истории любви Отуэя к мисс Барри, это, конечно, другое дело. Любовные письма Отуэя к «мисс \*\*\*» были опубликованы в «Семейной переписке» Тома Брауна еще в 1698 году, а профессору Хэму удалось отыскать позднейшую перепечатку книги, предпринятую тем же издателем в 1713 году — в год смерти мисс Барри, — и здесь ее имя уже не заменено звездочками, а приведено полностью. И, судя по всему, сама мисс Барри приняла решение опубликовать эти письма. Которые, как и следовало ожидать от такого нытика и эксплуататора чужого сочувствия, как Отуэй, полны сентиментальной нежности (он, скажем, закликает ее именем дочери, прижитой от Рочестера, «этим сладким плодом вашей первой и самой кроткой любви», что едва ли уместно в устах соперника). «И вот я протомился семью долгими и медленными годами желания», — пишет он, тем самым невольно датируя письма как отправляемые адресату уже после смерти Рочестера. Но мисс Барри была другого склада. «Безжалостная леди-проститутка» требовала от любовника куда большего, чем слова отчаяния. Олдис пишет:

Этот язык точечного безумия и отчаяния, сильно воздействующий на неискuschenных девиц, редко приводит к цели в общении с такими специалистками на поприще страсти, как мисс Барри, поскольку он только укрепляет их в собственном тщеславии. Вот она и заводила незаконных детей от других мужчин, отказывая Отуэю (который ни красотой, ни манерами не уступал даже лучшим из ее избранников) хотя бы в поцелуе.

Рочестер был для Сеттла, Крауна и даже для Ли покровителем своенравным и переменчивым, но нет ни малейшего признака того, чтобы он хоть однажды изменил благоприятное отношение к Отуэю. Смерть графа, превратившаяся в схватку двух вер (католицизма и англиканства) и одного безверия (его собственного), отображена в кульминационной точке пьесы Отуэя «Спасенная Венеция». Пьеса была напечатана в 1682 году, а Рочестер умер в 1680-м, так что аллюзия здесь несомненно наличествует. В пьесе Пьер стоит на эшафоте, ожидая казни, когда к нему приводят священника. Пьер, однако же, отказывается его слушать:

Вести ты хочешь

Вслепую разум мой, как водят льва,

Заманивая в подлую ловушку,

Чтобы поймать живым и укротить, —

И эти трюки называешь Верой.

Лови глупцов — и набивай кошель!

Всё, хватит, прочь!.. И, капитан, запомни,

Что мной отвергнут этот капеллан,

Подкравшийся в унылую годину, —

Хоть и солжет потом, что я прощен.

Неверным было бы впечатление, будто Рочестер покровительствовал только заведомо слабым поэтам. Он восхищался Уоллером, даже когда тот уже впал в старческое слабоумие, он дружил с Этериджем и Шедуэллом и отдавал должное элегическим стихам тех же Ли и Отуэя.

Шедуэлл был с придворными на короткой ноге (о чем применительно к самому себе мог только мечтать Драйден). «Лорд Дорсет, — сетовала Нелли Гвин, — появляется раз в три месяца, потому что сутками напролет пьянствует у себя дома с Шедуэллом и мистером Харрисом». Не без зависти Драйден вывел Шедуэлла в образе сказочного великана-людоеда, и эта карикатура сильно задела адресата. Высоченный, как правило, благодушно настроенный, жестоко пьющий дядька, Шедуэлл был драматургом от Бога, правда, неряшливым и неровным. Восхваляя его, Рочестер ничего не преувеличил:

Шедуэлла поразительные всходы —

Плод не Искусства, но самой Природы, —

Небрежны, не закончены, а все ж

Природного таланта не пропьешь!

Среди прочих поэтических попутчиков Рочестера главное место занимают Бакхерст и Сидли.

Сатиром бы я Бакхерста назвал:

Отличный парень и большой нахал,

Отчаянный похабник, но из тех,

Кто и у мертвых вызвать может смех,

И королеву не введет во грех.

Куда как Сидли тоньше и нежней

Знай делится и с ней, и с ней, и с ней

Догадками, одна другой срамней.

Намеками налитанный напев —

Известный соблазнитель честных дев,

И сохнет соблазненная как тень,

Всю ночь в желаньях и в слезах весь день.

В 1678 году завязалась новая литературная дружба. Внимание Рочестера привлекли сатирические стихи и песни, присланные ему в рукописи неким Джоном Олдхэмом — младшим учителем архиепископской школы Благословенной Троицы для неимущих в Кройдоне. Согласно биографу самого Олдхэма, Рочестер посетил школу вместе с графом Дорсетом и сэром Чарлзом Сидли, но, когда он послал слугу известить поэта о своем приезде и сразу же передать подобающие восторги, его послание по ошибке попало в руки к директору школы, который решил, что имя Олдхэма не более чем описка, и принял все комплименты на свой счет.

Престарелый джентльмен тут же облачился в парадное одеяние и поспешил на встречу... Когда он, запнувшись о порог, ввалился в помещение, высокопоставленные визитеры покатались со смеху. Он, однако же, завел напыщенную речь о том, какая великая честь ему оказана, давая тем самым понять, что подлинная цель визита ему не известна; лорд Дорсет, заметив, что старик все больше и больше смущается, а лорд Рочестер, пусть и продолжая смеяться, все сильнее мрачнеет, наконец оборвал директора не слишком учтивой фразой о том, что приехали-то они вовсе не к нему, а к мистера Олдхэму.

В конце концов появившийся Олдхэм оказался «длинным и тощим; он явно недоедал, да и работал чуть ли не круглыми сутками. У него были вытянутое лицо, крупный нос и в целом никак не располагающая к нему наружность, однако глаза искрились как у настоящего сатирика».

Вдохновение, обуявшее поэта вследствие этого визита, погубило не только скромную карьеру школьного учителя, но и здоровье Олдхэма. У его «высоких гостей, — пишет биограф, — хватало остроумия, порочности и денег на то, чтобы превратить в великого грешника и святого... Захватив с собой скромную сумму, скопленную за годы трудов, он тут же перебрался в Лондон и принялся приносить одинаково щедрые жертвы и Бахусу, и Венере».

Но Рочестер, которому оставалось жить всего два года, едва ли мог сыграть существенную роль в «сворачивании» Олдхэма. На смерть своего покровителя Олдхэм откликнулся одним из чрезвычайно редких для себя стихотворений, в котором начисто отсутствовали и непристойность, и сатира — и, напротив, отчетливо ощущались нежность и боль:

И если я хоть чуточку велик,  
То лишь как твой послушный ученик.  
На твой мотив звучат мои слова —  
Не всякая ли слава такова?  
Наследство разберут, кто сколько смог,  
А я возьму пастушеский рожок.

стороны будет только справедливо взглянуть на эту ссору глазами самого Рочестера. Выпадение Драйдена из его поэтического окружения было чем-то вроде дезертирства с поля боя. Поэты, которым покровительствовал Рочестер, выступали под его знаменем. Высота аристократического происхождения была важнее масштабов поэтического дара. Рочестера оскорбил неблагородный вассал, обязанный ему вечной благодарностью. Сидли распорядился избить дубинками актера только за то, что тот в своем сценическом одеянии сымитировал его наряд; а профессиональный поэт не так уж далеко ушел от профессионального актера.

Опубликовав пьесу с посвящением Малгрейву, Драйден, должно быть, на протяжении нескольких лет выходил на улицу не без опаски. Однако Рочестер, будучи не только аристократом, но и поэтом, ответил обидчику мастерской сатирой «Подражание Горацию» — и, попробовав поставить себя на место Рочестера и вспомнив о том, как жестоко уязвил Драйден его гордость, можно только удивиться сравнительно умеренному тону этого стихотворения.

1 ноября 1677 года Сэвил написал Рочестеру, что «весь осиный рой растревожен памфлетом, присланным по почте прямо в их гнездо — в кофейню Уилла. Мне, к сожалению, не довелось увидеть его собственными глазами, но я слышал, как эти стихи комментируют, и большинство сходится на том, что ноги у них растут из Вудстока».

Рочестер тут же отписал другу: «Что же до памфлета, о котором ты говоришь, посвященном бездарной поросли нынешних поэтов, то я искренне рад его появлению, и, пожалуйста, если сможешь, сообрази прислать мне копию. Чтобы известить этих мерзавцев, не нужно и остроумия, достаточно всего-навсего честно излить желчь».

Авторства своего Рочестер не отрицал (хотя курьезным образом дал понять, что считает возможным автором самого Сэвила), и есть все основания предположить, что памфлетом, так растревожившим Драйдена и его свиту в кофейне Уилла, было «Подражание Горацию». В начальных строках автор стихотворения, однако же, поневоле воздает Драйдену должное:

У драйденовских рифм — обличье гадин,

И каждый слог нескладен иль украден;

Слепоглухой глупец омажу[73] рад?

Каков поэт, таков и меценат!

Конечно, врать не стану, Драйден дока:

Комедий яйца высидев до срока,

Он лондонскую сцену взял с наскока.

Стихотворение продолжается острой критикой Крауна и Сеттла, Флэтмена и Ли и словами восхищения по адресу Шедуэлла и Уичерли, Бакхерста и Сидли. И только после этого гнев автора выплескивается на главного обидчика:

У Драйдена-то острый де умок,

У Драйдена-то длинный де клинок...

Но дамы, чуя сухость между ног,  
Грустят: не мужичок, а ноготок!  
Но нет, давайте будем справедливы  
И вместо лавра или же оливы  
Вручим поэту фиговый листок.  
Увы, и этот дар ему не впрок!  
Зато как плох, по Драйдену, Бен Джонсон!  
Бомонт и Флетчер, вам нанес урон-с он!  
А у Шекспира, значит, слог дурной-с  
И не сравнится (Драйден мнит) со мной-с?  
Что ж, если эти имена не звучны,  
Дела твои и впрямь благополучны,  
Мошенник мелкий и презренный тать —  
А как тебя иначе-то назвать?  
В отсутствие ума, таланта, вкуса  
Ты празднуешь — но празднуешь ты труса!

#### Кофейня[74]

Рочестер небезосновательно высмеивает в этих строках эссе Драйдена «О стихотворной пьесе заканчивающегося столетия», опубликованное пятью годами ранее. Эссе, в котором Драйден, в частности, писал: «Пусть любой, кто хорошо знает английский, попробует внимательно прочесть Шекспира и Флетчера, и я ручаюсь, что буквально на каждой странице он обнаружит стилистические шероховатости и серьезную измену хорошему вкусу; но эти имена окружены благоговейным трепетом, тогда как нам ставят в строку каждое лыко...»

Не исключено, что с подобной критикой смог бы впоследствии согласиться автор, написавший «Всё за любовь» и «Дон Себастьяна», но на момент появления сатиры Драйден был вправе похвастать разве что «Завоеванием Гренады» и «Ауренг-Зебом». Не считая одного злобного выпада, Рочестер продемонстрировал в «Подражании Горацию» умеренность и справедливость. И уж наверняка эта критика не заслуживала отповеди, появившейся год спустя в авторском предисловии к пьесе «Всё за любовь». Кротость упреков раззадорила поэта-лауреата, и он пошел в атаку в не свойственном ему грубом тоне:

Не всякий любитель драматического искусства способен судить о нем; ему следует разбираться в предмете, иначе он окажется слепым зрителем и глухим слушателем, а вовсе не критиком. Поэтому и появляется столько сатир на поэтов и пренебрежительных отзывов

об их творениях. Какой-нибудь приятный собеседник (или, по меньшей мере, человек, слышущий таковым), какой-нибудь джентльмен, будучи наделен большим воображением и вдохновясь двумя-тремя строчками в беспомощном переводе с латинского, берет на себя смелость выделиться из стада себе подобных, провозгласив себя поэтом... И разве это не пустая блажь: не довольствоваться теми подарками, которые преподнесла тебе сама судьба, тихо сидя где-нибудь у себя в поместье, но выставлять на всеобщее обозрение, чтобы не сказать на всеобщее посмешище, собственное более чем сомнительное остроумие, собственную ни стыда, ни срама не ведающую наготу? Напрочь позабыв при этом, что люди трезвомыслящие, да и просто трезвые, едва ли способны по этому поводу впасть в хмельной восторг, накатывающий на твоих угодливых клеветов после третьей бутылки.

Драйден продолжает, напрямую переходя к задевшему его стихотворению:

Такой человек не щадит и самого Горация (насколько это, конечно, в его силах), невежественно и низко подражая ему, без малейшего на то права пользуясь авторитетом римского поэта с тем, чтобы сровнять с землей людей, по достоинству считающихся его подлинными преемниками... С каким великолепным презрением посмотрел бы Гораций со своей высоты на жалкого переводчика, и латынь-то освоившего кое-как, путающего друг с дружкой слова, не умеющего выдерживать цезуру и сплошь и рядом противоречащего самому себе!.. Что же касается меня, то мне не нужно иного возмездия — ни для себя, ни для остальных поэтов, — лишь бы этот критик-рифмач с галерки, куда можно попасть, уплатив за билет всего двенадцать пенсов, лишь бы этот законный сын Стернхолда[75] поставил под гнусным поклепом свое имя или хотя бы (не будем преувеличивать его учености) крестик. Ибо, стоит ему объявить о своем авторстве публично, стоит сбросить с плеч львиную шкуру безымянного судии, — и те, кого он проклинает, выразят ему сердечную признательность, тогда как те, кого он превозносит до небес, почувствуют себя проклятыми; литературное начальство, назначенное им, без лишнего шума покинет кресла и кафедры, лишь бы избежать позора огласки обстоятельств самого назначения.

Возможно, Драйден надеялся остаться безнаказанным, уповая на все возрастающее могущество своего покровителя: Малгрейв в те дни явно преуспевал в псовой травле, обкладывая со всех сторон загнанного остроумца, от которого устал мир, от которого ушло телесное здоровье и вместе с ним, казалось бы, — малейшая возможность нанести ответный удар. Стихотворение Малгрейва «Эссе о сатире» в 1679 году широко ходило в рукописи. Конечно, в нем содержались нападки на герцогиню Портсмут и герцогиню Кливленд:

Когда еще царей пленяли две —

Страшны как грех, без мысли в голове...

Однако главный запас желчи был припасен, разумеется, для Рочестера. Авторство Малгрейва было неуклюже замаскировано включением в текст стихотворения нескольких строк, в которых сам же Малгрейв воспевается как великий любовник. Этого, однако же, хватило, чтобы стихотворение начали приписывать Драйдену, хотя поэтическими достоинствами оно явно не блещет. Впрочем, современники относились к Драйдену как к стихотворцу очень по-разному; и только потомок вправе заявить, что Драйденом в этих неуклюжих виршах даже не пахнет. Однако и Рочестер, и, скорее всего, обе королевские фаворитки считали автором «Эссе...» именно Драйдена, что видно, в частности, по письму Рочестера Сэвилу:

Посылаю тебе стихотворный памфлет, в котором мне отведено далеко не последнее место; королю — тоже, но это его только позабавило. Автор, скорее всего, мистер Драйден,

поскольку в стихотворение включен сущий панегирик его покровителю лорду Малгрейву; из-за чего у его светлости произошла небольшая перепалка с мисс Б. в гостях у герцогини П. Она назвала его героем стихотворения и льстиво добавила, что он сделал рогоносцами больше мужей и любовников, чем любой другой мужчина из числа ныне здравствующих. На что он возразил: ей прекрасно известен человек, которого он, Малгрейв, не сделал рогоносцем — да и не стал бы, даже если бы его попросили. Грубиян и сучка тут же перегрызлись, а король, унаследовав соответствующий дар от деда, выступил в роли миротворца.

Приводим строки, послужившие для Рочестера причиной возобновить постыдную тяжбу с Малгрейвом:

Рочестер — вот презренный идиот,

Облыжно сатаню он слывет:

Пусть и рогат чертяка, и хвостат,

Вся жизнь его, по сути дела, — ад...

Вотще его кривлянье пропадает:

Он целится, но редко попадает;

Его замашки каждому ясны:

Он льстит в лицо и жалит со спины.

Подл в каждом деле, крив и хром на обе,

Он вечно пребывает в лютой злобе,

Он и в своих насмешках столь же скучен,

Как Киллигрю — но тот хоть добродушен.

Большой любитель двух (навскидку) Бесс,

Бывает бит частенько этот бес.

Такой герой — и в синяках от труса

(Герой он или трус, есть дело вкуса;

Герой в бою бледнеет, трус — дрожит,

А наш герой — сражения бежит)!

Но мир и двор простить его обязан —

Он за грехи давным-давно наказан.

Он столько западней соорудил,

Что выбраться из них лишился сил,

И скажет всяк при виде катафалка:

«Жил жалко он, зато его не жалко!»



Уж промолчу я о его стихах:

Беда, позор, фиаско, полный крах.

Смешон бывал, а остроумен — нет,

А если вдруг писал смешной куплет,

То прятал в глубину смердящей свалки,

Куда без тряпки сунуться и палки,

А лучше и не палки — кочерги

(Сгорело все) — и думать не моги!

Тому, кто заглянул в сей колумбарий,

Излишен даже этот комментарий.

Много лет спустя Малгрейв вручил это стихотворение виртуозу Александру Попу, чтобы тот отредактировал его в процессе подготовки к переизданию. Поп постарался как следует: изъясился совершенно безумные и бессмысленные нападки на поэзию Рочестера, вставил несколько собственноручно написанных двустиший, порядочно отполировал все остальное. Нетронутым рукой мастера осталось лишь одно двустишие — и, может быть, как раз его когда-то и вписал в текст Малгрейва другой поэт-виртуоз — Джон Драйден:

Подл в каждом деле, крив и хром на обе,

Он вечно пребывает в лютой злобе.

Несколько раньше, и по другому поводу, Рочестер написал Сэвилу из Хай-Лоджа в Вудстоке:

Ты пишешь, что меня невзлюбил один поэт, которым я в некотором роде даже восхищаюсь, точнее даже не им самим, а немислимым искажением пропорций как в его внешности, так и в его поведении, включая творческое поведение и само творчество. Он диковина, полюбоваться на которую можно, не заходя в кунсткамеру; он жаба, умеющая играть на скрипке, он певчая сова. Если ему вздумается исподтишка напасть на меня (а иначе он не умеет), я прощу его, с твоего позволения, а в знак своего благоволения пошлю по его душу Черного Уилла с дубинкой.

18 декабря Черный Уилл сделал свое дело в Аллее Роз, буквально в двух шагах от кофейни, принадлежащей другому Уиллу.

В «Доместик интеллидженс» № 49 за 23 декабря 1679 года читаем:

18-го числа сего месяца поздним вечером на Роуз-стрит в Ковент-Гардене на мистера Драйдена, нашего великого поэта, напали трое. Обозвав его мерзавцем и сукиным сыном, они сбили поэта с ног и нанесли ему опасные для жизни увечья, однако, когда он закричал: «Караул!» — убежали. Уже установлено, что это были не рабители, а наемники, которым

было заранее заплачено за экзекуцию некоей мстительной дамой, если не неким мстительным папистом.

Затем появилось объявление в «Лондон гзет»:

Поскольку Джон Драйден, эскв., был в понедельник вечером 18-го числа сего месяца на Роуз-стрит в Ковент-Гардене зверски избит и тяжело ранен несколькими неизвестными, любой, кто назовет имена нападавших самому мистеру Драйдену или любому мировому судье, не только получит гарантированное вознаграждение в пятьдесят фунтов, которые уже депонированы с этой целью у мистера Бланшара, золотых дел мастера, по соседству с Темпл-бар, но и, буде он окажется сообщником нападавших или даже одним из них, Его Величество изволили милостиво посулить ему полное прощение.

За объявленной наградой, однако же, не пришел никто.

Современников это покушение не столько возмутило, сколько позабавило. Анонимный насмешник передразнил перевод «Памятника», сделанный Драйденом с латинского:

Туда не зарастет народная тропа,  
Где бить меня дубьем накинута толпа,  
И долго буду тем любезен я народу,  
Что там, в Аллее Роз, навешали уроду.

Энтони Вуд был убежден в том, что Рочестер заранее согласовал задуманную экзекуцию с герцогиней Портсмут; связывает два эти имени воедино и Сэмюэл Деррик в превосходно подготовленном сборнике стихотворений Драйдена, изданном Тонсоном примерно столетие спустя, а сама по себе засада в Аллее Роз стала в литературе тогдашней эпохи символом терний на поэтическом пути.

Ко дню нападения на Драйдена Рочестеру оставалось жить всего восемь месяцев, и он постоянно мучился почти невыносимыми болями. И в таком состоянии (и в такой момент, когда против него восстал, казалось, весь мир) он обнаружил, что на него набросились сначала в прозе как на «критика-рифмача с галерки», а потом и в стихах — как на труса, причем Рочестер (несправедливо) полагал, что оба удара были нанесены одной и той же рукой — рукой толстяка, некогда безбожно льстившего ему и обязанного своим восхождением его же, Рочестера, высокому покровительству; толстяка, который смешил всех вокруг неуклюжими попытками «обнажить шпагу» в кругу истинных остроумцев. Стоит ли удивляться тому, что Рочестер кликнул молодчиков с дубинками?[76]

XI

Смерть Дориманта

Постель, в которой Рочестер умер в Хай-Лодже, Вудсток-парк, 26 июля 1680 г[77]

Весной 1678 года Энтони Вуд записывает в дневник: «Во вторник, 18 апреля, в Лондоне умер Джон, граф Рочестер, двадцати восьми или около того лет от роду». Через пару дней делает приписку, состоящую из одного-единственного слова: «Ошибка». Не удивительно поэтому, что Немур из «Принцессы Клевской», услышав о смерти графа Розидора, переспрашивает: «Но это точно?»

Слух о смерти поэта опередил его фактическую кончину всего на два года. В апреле 1678 года он был «на пороге смерти». Seriously заболев в 1669 году, он был вынужден принимать «ванны» мисс Фокар, то есть лечиться ртутью от сифилиса; в 1671 году глаза поэта, по его собственному признанию, уже не могли отличить вино от воды; рецидивы случались практически ежегодно. Отказ от вина и женщин мог бы, пожалуй, спасти его, но, даже вознамерясь он повести себя соответствующим образом, у него не хватило бы силы воли. Серьезный недуг, поразивший его в 1678 году, внес в вечные толки о Рочестере новую ноту. Леди Чаворт написала лорду Русу, что Рочестер «так раскаивается в своих прегрешениях, будто собирается послужить примером для покаяния всему человечеству, и я надеюсь, что именно так оно все и будет».

Подробности этого — первого — покаяния нам известны от Бернета:

Когда его силы иссякли настолько, что он не мог ни двинуться, ни пошевелиться и не надеялся прожить еще хотя бы час, он сказал, что его ум и способность здравого суждения остаются столь сильными и ничем не замутненными, и с этого мгновения он полностью убежден в том, что смерть не означает исчезновения или испарения души, а только отделение ее от тела. Эта болезнь ознаменовалась для него и горьким раскаянием в его прошлой жизни, но, как объяснил он мне позднее, ужас его был темен и носил универсальный характер, отнюдь не сводясь к страху перед тем, как тяжело он согрешил перед Господом. Он сожалел о том, что прожигал жизнь — и сжег ее так быстро, — о том, что навлек на себя такую дурную славу, — он мучился этим и не находил слов, способных воплотить и передать мучения.

И от болезни, и от приступов раскаяния Рочестеру удалось частично оправиться, но человеку, который прочел извещение о собственной смерти, всегда найдется о чем поразмыслить — а ведь до него наверняка дошли те же новости, что и до Энтони Вуда.

Сегодня мне сообщили горькую весть о моей собственной кончине и об уже состоявшемся погребении. Однако, услышав имена моих наследников и преемников, особенно по части принадлежащих мне зданий, я изрядно порадовался тому, что скорбные новости не отвечают действительности; моя воля к жизни настолько усилилась, что впредь я не намерен пренебрегать никаким лечением, иные способы и методы которого казались мне до сих пор страшнее самой смерти. Король, которому известен мой дурной нрав, должен быть поставлен в известность о том, что я не собираюсь сдать себя смерти без боя; теперь я буду жить ей и всем назло. Дорогой мистер Сэвил, жду свежих новостей из вашего царства живущих.

Мимолетное раскаяние не было, однако же, внезапным обращением закоренелого безбожника. Рочестер всегда любил «высокие моральные качества в других», а его умонастроение в последний период жизни уместно было бы назвать «новой серьезностью», пришедшей на смену откровенно разрушительному духу сатиры, безжалостно обрушивающейся на любого разносчика порока, кроме ее автора. Его друзья, которым когда-то хватало беспробудного пьянства в его обществе, начали постепенно превращаться из «распутников» в государственных деятелей и политиков. Если бы Рочестер не умер таким

молодым, он, пожалуй, избрал бы ту же дорогу. Его друг Роберт Уолсли написал:

Его ум начал склоняться в сторону публичной деятельности; он постепенно уяснил для себя мудрость наших законов и великолепное устройство английского правительства; теперь его выступления в Палате лордов получали широкое одобрение; он интересовался всевозможными историями, касающимися жизни страны в прошлом и в наши дни, и принялся читать материалы заседаний парламента.

Из Лента в 1677 году Рочестер написал Сэвилу: «Я был бы рад поработать в парламенте на постоянной основе, потому что пэры Англии начали играть в последние годы значительную роль в управлении страной. Я появлюсь к началу сессии. Тит Ливий и собственная болезнь настраивают меня на политику». Правда, тут же добавил, что, конечно же, прибыв в столицу, сменит «эту блажь на какое-нибудь меньшее зло, а что это будет — вино или женщины, — я не знаю; в зависимости от того, в какую сторону качнутся хвори».

Возобновление «воли к жизни» не оставляло особого места одному из двух «меньших зол», хотя он и писал: «Воистину чудны дела Твои, Господи (как выражаются мудрецы), если человек и на краю могилы продолжает валять дурака и разыгрывать из себя шута, но иначе мне скучно жить».

Близкое дыхание смерти вызвало у поэта желание выразить словами свою любовь к Сэвилу — одному из немногих друзей, с кем он не рассорился и кто не дезертировал сам — даже теперь, когда вошло в такую моду ненавидеть Рочестера:

То, что ты, как мне кажется, любишь меня, — далеко не последняя по значению из моих удач; но зато первая из осознаваемых мною обязанностей — вести себя так, чтобы счесть самого себя и впрямь достойным такой любви. Если и есть на земле что-то по-настоящему хорошее, то это дружба, в отсутствие которой все остальные блага оказались бы пустым вымыслом. Наш повседневный опыт служит печальным доказательством того, как редко встречаются люди, сделанные из достаточно прочного для настоящей дружбы вещества. И все же, дорогой Гарри! Давай не сдаваться, давай не отчаиваться в упрочении — хотя это и есть самое сложное — столь редкостного проявления земной жизни; оно ведь и самое лучшее или, вернее (может быть), единственно достойное! Подобные мысли совершенно захватили меня с тех пор, как я приехал в деревню (где только и можно думать, потому что вы там, при дворе, вообще ни о чем не думаете или, по меньшей мере, подобно человеку, запертому в барабан, не можете думать ни о чем, кроме грохота палочных ударов, обрушивающихся вам на голову), и я додумался до многих чрезвычайно серьезных вещей (но здесь на Рочестера накатывает всегдашний цинизм. — Г. Г.) и, наряду с прочим, вывел одну максиму, которую мне хотелось бы при случае передать нашему другу Господу Б-гу: раз уж наша честность и порядочность прямо пропорциональны нашему благосостоянию, то может ли бедняк оказаться порядочным человеком или, например, преданным другом. Никудышный хозяин своего добра — никудышный друг.

«Воля к жизни» вернула Рочестера из Эддербери — где он, не исключено, мог бы в тишине и покое прожить еще долгие годы, — в столицу; в Лондоне он не мог найти ни того, ни другого, оказавшись таким образом далеко не первым, кому суждено было умереть не от недостатка жизненных сил, а от их чрезмерного изобилия.

Доносу Отса уже был дан ход, тайные осведомители трудились и дома, и за границей; Лондон, встретил Рочестера унынием и страхом, и даже единственный друг не скрасил этой встречи: Сэвил, завершив курс лечения у мисс Фокар, прямо от нее отправился во Францию. «Твоя светлость так хорошо начитана, — написал он 13 июля 1679 года, — что ты просто не мог не слышать про древнеримского военачальника, которому, вернув его из ссылки, поручили командовать армией; кто, кроме нас, во всей Британской империи способен последовать столь высокому примеру? Искренне прошу твою светлость сопоставить судьбу

древнего джентльмена с моей... потому что во Франции возникли кое-какие затруднения и Его Величество повелели мне действовать молниеносно». Таким образом, пока так и не оправившийся полностью от болезни Рочестер с трудом прокладывая себе путь в Лондоне, усеянном рифами папистского заговора, его лучший друг в письмах из Франции удивлялся «поразительным новостям» и жаловался на скверное качество французского пива и на то, что болезнь не дает ему возможности принимать участие в обеих разновидностях традиционной королевской охоты.

В Англии все выше и выше восходили звезды протестантизма — Монмут и Шефтсбери, — однако герцог Йорк, будучи католиком, продолжал оставаться престолонаследником. В прошлом Рочестер не раз обрушивался с нападками на герцога; в 1674 году он в одной из сатир предостерегал короля против «лжебрата и лжедруга», а в «Истории безвкусицы» писал:

Король, побойтесь брата,

Правителя страны,

Не то вы, как когда-то,

Бежать обречены.

Но сейчас для подавляющего большинства политически активных людей настал момент истины. Палата общин в своей поддержке разоблачений, сделанных Отсом, зашла слишком далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности при короле-католике, а здоровье Карла меж тем пошатнулось. Поэтому был подготовлен и выставлен на голосование билль, лишаящий герцога права на престолонаследие. Рочестер, выступая на эту тему в Палате лордов, крайне умно и осторожно подбирал выражения. С одной стороны, он ополчился на билль, поддержав тем самым партию герцога, а с другой — прибег к аргументации, которая не должна была излишне разозлить виггов[78]:

Мистер спикер, сэръ, хоть и было уже сказано, что ни один добрый протестант не сможет выступить против билля, и все же, сэръ, я не могу удержаться от того, чтобы высказать несколько возражений. Мне как-то не доводилось слышать о том, чтобы людей, покушавшихся на жизнь короля, приговаривали к смерти, не допросив и даже не выслушав. Почему же мы хотим создать такой прецедент применительно к родному брату нашего государя? Это столь жестокий метод судопроизводства, что, мне кажется, нам не удастся объяснить его остальному миру; поэтому палате имело бы смысл доказать собственную справедливость и беспристрастность, проведя перед импичментом формальный допрос подозреваемого, а затем, если его вина подтвердится, не только лишить его означенных прерогатив, но и отрубить ему голову. И я не собираюсь оспаривать право парламента поступить именно так, я всего-навсего задаюсь вопросом, окажется ли соответствующий закон, буде мы его примем, достаточно справедливым. Некоторым законам бывает свойствен некий изначальный изъян; мне кажется, что бунт Долгого парламента (я имею в виду первый Долгий парламент, а не его «охвостье») был обусловлен прежде всего рассогласованностью законов: один из них предоставлял парламенту полномочия, которые, согласно другому, не могли быть отчуждены у короны. И я уверен в том, что и закону, который мы собираемся принять сейчас, будет присущ тот же недостаток. А если мы его не примем, то наверняка найдется достаточное количество верноподданных людей, которые никогда не смиряются с этим — однако, полагая себя связанными присягой на верность престолу, присягнув и герцогу, если он когда-нибудь станет королем, что может привести к новой гражданской войне... Короче говоря, на мой смиренный взгляд, этот билль должен быть нами отвергнут.

На следующий год, 6 марта, Рочестер принял присягу, обязательную для государственного служащего[79]; и временное улучшение состояния его здоровья в сочетании с новым серьезным умонастроением позволяли ему надеяться на получение какой-нибудь официальной должности за границей. Если бы ему было суждено закончить жизнь полномочным послом при каком-нибудь королевском дворе или, накачиваясь крепким пивом и тоскуя по Уайтхоллу, в республиканской Голландии, он повторил бы судьбу своего друга Этериджа. На какой именно пост рассчитывал Рочестер, нам не известно. Единственный намек находим в письме, написанном Сэвилем в Париже 16 апреля 1679 года:

Мне не хочется быть одним из доброжелателей, советующих тебе и впредь сдерживать нрав и вести праведный образ жизни; советы эти хороши для здоровья, вот только при таком поведении никакому здоровью рад не будешь. Видишь, милорд, я отчасти впал уже в нудную добропорядочность, подобающую истинному государственному мужу, но непременно постараюсь исправиться при личной встрече с твоей светлостью в Булони, а я продолжаю надеяться на этот вояж, хотя его сроки несколько сдвигаются из-за неторопливости испанского посла, по-прежнему пребывающего в Брюсселе, перейдя на тамошнее жалованье; но я обязательно извещу тебя о малейшей перемене планов, поскольку эта информация может оказаться полезной для тебя в свете твоего предстоящего назначения (насчет которого, как я надеюсь, все уже решено окончательно); я так мечтаю встретиться с тобой там, что просто-напросто сойду с ума, если вместо тебя все-таки пришлют кого-нибудь другого.

Тот факт, что Рочестер, по его собственному выражению, «выпучил глаза в сторону великих дел», подтверждается и сменой тона в его письмах Сэвилу; веселые разглагольствования о вине и женщинах исчезают из них чуть ли не напрочь, уступая место детализированным отчетам о разного рода политической активности, включая интриги министров и новые разоблачения Отса. Но расшатанное здоровье так и не позволило ему отправиться на континент и повидаться с другом-толстяком, с которым они сошлись в дни полной приключений юности, когда смелость Рочестера не подвергали сомнениям, а сам он пускал в ход шпагу без малейших колебаний. Осенью 1679 года он вновь очутился на грани между жизнью и смертью. В дни, когда Рочестер чувствовал себя хорошо, он был не в состоянии смирить в себе буйный дух отца-«кавалера», а вот в период ухудшения здоровья власть брали гены пуританки-матери. В октябре, с трудом пойдя на временную поправку и обретя новый вкус к занятиям серьезными делами, но еще не чувствуя себя способным к ним, Рочестер для времяпрепровождения принялся читать «Историю Реформации» доктора Бернета. Для этого ему пришлось прервать работу над обновляемой версией Флетчерового «Императора Валентиниана».

Контраст между этими двумя занятиями был, впрочем, не так велик. И «Валентиниана»-то Рочестер выбрал на переделку из-за его темы: похотливый государь и развращенный двор. Отходя от тяжелого приступа, он вместо призывов к реформам занялся изучением деятельности реформаторов прошлого. В свою версию «Валентиниана» Рочестер вложил не только ненависть, питаемую им к Уайтхоллу (в котором он давным-давно, по собственному признанию, играл роль человека, поставляющего наложниц королю), но и отчаянные поиски веры. Ранее он целиком и полностью полагался на посюсторонний мир — и этот самый мир его разве что не уничтожил. И конечно, поэта подстерегала проблема теодицеи: ему не удавалось совместить идею всемогущества Божьего с ужасами войны и бедствиями лишений.

Первоначала! Вы, сквозя сквозь вещи

И малость бесконечностью пронзив,

В веках добры, мудры и не зловещи,

Откуда же чудовищный порыв  
К нам вторгся, мир в геенну погрузив?

Будь, Дух вселенский, Ты и вправду благ,  
Неужто бы так страждал человек?  
Повсюду кровь, и мор, и смерть, и мрак,  
Брань, блуд, безумье, бойня, боль навек, —  
За что Ты нас на это всё обрек?!

Кошунственно пусть это прозвучит,  
Но Бог со Злом для нас — орел и решка;  
Бросаем жребий — кроток иль сердит? —  
И знать не знаем, что Твоя усмешка  
Нам неудачным выбором грозит.

Это уже совершенно новый подход по сравнению с прямолинейным атеизмом Рочестеровых переводов из Сенеки:

Уж коли Смерть на свете правит,  
И нас в покое не оставит,  
И никого не пощадит,  
Будь циник ты или пиит,  
Будь стоик или же стяжатель, —  
Лови мгновение, приятель,  
И с наслажденьем проживи  
И дружбы день, и ночь любви!

Перевод реплики хора из Сенеки восходит, понятно, к Гоббсу. Трудно преувеличить

тогдашнюю популярность этого философа даже среди тех, кто никогда не брал в руки его трудов. Приятие догматов Гоббса было столь же всеобщим, как в XX веке — приятие догматов Фрейда. В анонимном трактате «Городской щеголь» (1675) читаем:

Своим символом веры (потому что даже такому хлыщу время от времени хочется хоть во что-то поверить) он обязан Гоббсу; по меньшей мере, именно это твердит он сам: в «Левиафане»-де содержатся все утраченные побеги с древа мудрости Соломоновой; меж тем сам он этой книги в глаза не видел, и, по нему, она вполне может быть посвящена лову кильки или новым правилам лова таковой в районе Гренландии. Но о книге говорят во всех кофейнях, и он успел почерпнуть из нее два правила: над духовной жизнью надо смеяться и никаких ангелов не существует, кроме «ангелочков» в одном исподнем.

Для Гоббса душа была функцией тела, первоначалами же оказывались ощущения и желание. Система аргументации Гоббса, рационально переходя со ступени на ступень, заменяла понятие Бога поступательным движением и здравым смыслом. Ее с восторгом приняли при дворе периода Реставрации, потому что она отрицала сверхъестественное наказание за земные грехи, равно как и сверхъестественное вознаграждение за проявленные при жизни добродетели. То, что вместе с тем она исключала из жизни радости земные, поначалу не слишком бросалось в глаза, хотя почитателей Гоббса должен был насторожить пример человека, ночами распеваящего песни у себя в постели, — но не от восторга, а исключительно для тренировки голосовых связок.

Однако Гоббс и его последователи, не веря в Страшный суд, испытывали ужас перед полным «обнулением» в смертный час. И наконец в 1679 году Гоббс умер. Малгрейв откликнулся на его смерть велеречиво и высокопарно:

В невежестве мы темном пребывали,

Диавола и духов трепетали;

Великий Гоббс, явившись к нам, пролил

Свет разума — и в бегство обратил

Все эти чудища...

Однако простой люд — уличные музыканты и разносчики газет — придерживались противоположной точки зрения:

Помер Гоббс? Не плачь вдогон!

Атеистом помер он,

Просто взял и вышел вон!

Помер Гоббс легко и просто,

Дотянув до девяноста

От пеленок до погоста.



Помер Гоббс? Какая клизма

Постулатам атеизма!

Фронтиспис и титульный лист «Левиафана» Гоббса[80]

Доктрина Гоббса разонравилась Рочестеру задолго до того, как он засел за чтение «Истории...» доктора Бернета. Да и раньше привлекала она его не столько рациональной стороной (однажды Рочестер сказал Бернету, что ни разу в жизни не встречал стопроцентного атеиста), сколько эмоциональной. Мысль о том, что, «умерев, мы становимся прахом», была ему интересна своим цинизмом; не зря же он сам написал «Оду Ничто» и «Сатиру на род людской». Однако болезнь притупляет эмоции, в том числе — и вкус к цинизму. Болезнь позволила Рочестеру настолько раскрепоститься душевно, чтобы он смог задаться вопросом о «первоначалах» и ответить на него не по-гоббсовски: нет, не ограниченными в пространстве и времени являются они, но бесконечными и вечными, пусть те же самые свойства — бесконечность и вечность — присущи и мировому Злу. Дойдя в своих размышлениях до этой точки, Рочестер как раз и приступил к чтению «Истории Реформации».

Эта книга не принесла ему успокоения. Напротив, он ощутил неуверенность; его с трудом обретенное мировоззрение вновь пошатнулось. Он читал книгу, написанную человеком его собственного интеллектуального уровня, причем человеком светским (а Бернет никогда не был сугубо кабинетным ученым и тем более монахом), который, как выяснилось, придерживается той же веры, тех же правил и понятий, в которых самого Рочестера воспитывали в детстве, но от которых его затем категорически отучили — сначала в Оксфорде, а потом в Уайтхолле, — внушив ему, будто они являются суевериями, распространяемыми исключительно затем, чтобы обманывать род людской. Но если Бернет прав и действительно существует некий Бог, достаточно заинтересованный в человечестве, чтобы взять на себя труд судить и проклинать, то что же ждало бы Рочестера в наказание за беспутную жизнь? Земная жизнь подошла к концу — и ему следовало позаботиться о жизни вечной. Мисс Робертс, щедротами которой он пользовался наряду и наравне с королем, умерла прошлым летом, всего через пару недель после того, как Сэвил написал ему о встрече с ней у мисс Фокар, на что Рочестер откликнулся каламбуром о «чертовых чертогах», где ей, строго говоря, и место. Будучи, как она всегда утверждала, дочерью священника, мисс Робертс была соборована Бернетом и покаялась в своей многогрешной жизни; теперь ее ждала встреча с вечностью.

И вот в октябре 1679 года Рочестер послал к Бернету приятеля с просьбой навестить его, и, по словам самого Бернета, «после того, как я зашел к нему раз-другой, он проникся ко мне таким доверием, что поведал все свои мысли как о религии, так и о морали и рассказал мне полную историю своей жизни; мои визиты становились все более частыми, и ему это нравилось. Вплоть до его отъезда из Лондона, случившегося в начале апреля, мы виделись едва ли не каждый день».

[81]

Когда Бернет впервые опубликовал отчет об этих беседах и о религиозном покаянии Рочестера (а произошло это в год смерти поэта), его свидетельство подвергли сомнению, а друзья Рочестера и вовсе отказались признать отчет мало-мальски правдоподобным. Бернет был модным духовником, он извлекал моральный капитал из встреч с теми, кто сам к нему тянулся, — сначала это была мисс Робертс, а затем и Рочестер. Завязтые острословы относились к нему в полном соответствии со стихотворной строчкой Отуэя: «Прокравшийся ко мне в мой скорбный час». Его, сама по себе вполне логичная, лояльность властям после революции, его курс поведения, выбранный себе в образец Дорсетом и Сидли, довели нелюбовь к Бернету до уровня истерии, что выразилось, в частности, в таких строках анонимного автора:

Шотландский проповедник-демагог

Мерзавцев возглавляет каталог;

Шотландец, каледонец — все едино:

Любой шотландец гнусная скотина;

Но этот мастер лжи и шарлатанства —

Саморазоблачение шотландства!

Но более чем двести пятьдесят лет спустя, зная о Рочестере и о его родителях то, что мы знаем сегодня, к книге Бернета надо отнестись по-другому: она не просто заслуживает доверия, она более чем убедительна. Большая ее часть написана в форме диалога: Рочестер высказывает свои претензии к христианству как к религии, а Бернет на эти претензии отвечает. Дело происходит осенью 1679 года, и действие развивается весьма драматично. Рочестер по-прежнему отрицает если не существование Господа, то Его миссию Судии — и делает это с блеском. Впервые в жизни он формулирует идеи, которые скорее могут быть проведены по ведомству объективного идеализма, а возражает ему искушенный в спорах диалектик. Роли в диалоге распределены не поровну: на долю Рочестера приходится всего триста две строки, на долю Бернета — тысяча шестьсот семьдесят одна. Это поединок бойцов разных весовых категорий: Рочестер пробует провести атаку то оттуда, то отсюда — и всякий раз вместе со всеми своими аргументами оказывается отброшен далеко в сторону. И каков же окончательный результат?

В итоге всех наших собеседований, сообщил он мне, он понял, что пороки и безбожие столь же чужды человеческому обществу, как вырвавшиеся на волю хищные звери. И поэтому он преисполнился твердой решимости в корне переменить жизнь; стать собой настоящим и истинным; прекратить божбу и антирелигиозное кощунство; почитать Творца и молиться Ему; и хотя он так и не смог принять христианство безраздельно и полностью, не намеревается впредь посягать на его основы свободной игрой ума, равно как и подстрекать к этому кого бы то ни было другого. Человек безупречной добродетели, много говоривший с ним в последние месяцы его жизни, заверил меня в том, что не раз слышал от него, что он счастлив был бы уверовать и никогда не прекратит надеяться на это.

Бернет одержал только частичную викторию, да и та досталась ему лишь после долгой битвы. Излагать систему его аргументации не имеет смысла; практически то же самое скажет в наши дни любой хорошо образованный интеллеktуал из числа приверженцев англиканской

церкви. Куда интереснее доводы Рочестера; они проливают четкий свет на то, что большинство людей традиционно хранит во мраке и в секрете.

Что касается морали, то он признал необходимость ее поддержания как в деле успешного управления миром, так и для сохранения в нем душевного здоровья, дружбы, да и самой жизни, и глубоко устыдился своего поведения в былые дни — главным образом потому, что он тогда добровольно превратился из человека в хищного зверя, причинил боль своему телу и навлек на него недуги, а также погубил собственную репутацию, а вовсе не потому, что в глубине души почувствовал высшую — и не соприродную человеку — сущность... Он вывел для себя два правила морали: не делать ничего, что могло бы повредить, во-первых, ближнему, а во-вторых — его собственному здоровью; что же касается наслаждений и их поиска, то это вполне допустимо как удовлетворение наших естественных appetitov в той мере, в какой оно не противоречит двум вышеизложенным правилам. Он отказывался поверить в то, что стремление к наслаждениям заложено в нас только как испытание, на которое мы должны ответить воздержанием и отказом; вино и женщины, утверждал он, должны быть широко и повсеместно доступны.

Это был первый интеллектуальный вызов Рочестера, первая попытка найти нравственное оправдание собственной жизни, — и ответ священника оказался развернутым и детализированным. Если «моральные правила» были сформулированы Рочестером только затем, чтобы шокировать облеченного духовным саном собеседника, то эта попытка потерпела категорическую неудачу. На шести страницах излагает Бернет спокойным тоном тщательно продуманную и взвешенную контраргументацию. Человек не может справиться с собственными appetitami единственно при помощи изобретенной для личного пользования философии; все его существо подлежит внутреннему возрождению и преображению под воздействием высшего начала. В этом месте Рочестер единственный раз на протяжении всех многочасовых диалогов выказал признаки нетерпения и раздражения, заметив, что слова его собеседника звучат наивно или, наоборот, лицемерно. Если бы от чисто человеческих желаний нас могло отвлечь нечто высшее, то занятий теоремой Евклида или переписывания чужих стихов оказалось бы более чем достаточно. И тут же ему веско возразили — причем текст возражения занимает столько же страниц, сколько само замечание Рочестера — строк. Правда, Бернету так и не удалось переубедить упряма; доктору пришлось довольствоваться нехотя сделанным признанием в том, что если человек обладает духовным стержнем, отвлекающим его от земных желаний, то такой человек бесспорно счастлив.

От моральных принципов беседа переходит к теме Бога, и здесь Рочестер формулирует свое понимание Божественного начала:

Он заявил, что считает его могущественной силой, пронизывающей всё на свете по самой своей природе; ему кажется, что Богу не могут быть присущи такие чувства, как любовь и ненависть, во всяком случае — любовь и ненависть, распространяющиеся на нас, а это означает, что нет ни высшего воздаяния, ни вечного наказания. Он считает, что мы так плохо понимаем и знаем Бога, что лучше нам и вовсе не думать о Нем, что же касается любви к Господу — то, на его взгляд, это блажь и суеверие. А значит, в мире нет места и богослужению, кроме, разве что, предельно краткого и абстрактного славословия Божества. Все остальные составляющие религиозного культа являются, полагает он, изобретением священнослужителей, призванным внушить человечеству, будто они могут служить Господу и добиваться от Него милостей по своему собственному усмотрению... Что же касается загробной жизни, то хотя он не считает, что смерть тела непременно влечет за собой и исчезновение души, однако изрядно сомневается в самой дихотомии воздаяние/наказание: заслуги наши слишком ничтожны для первого, а второе, по нашим жалким грехам, непомерно жестоко.

Однажды Рочестер, перебив Бернета, излагает свое понимание загробной жизни более развернуто:

Ему казалось более вероятным то, что душа после смерти тела рождается заново, но что ее память о прошлом, записанная в виде определенных образов в мозгу, при этом совершенно стирается; душа просто-напросто обретает иную телесную оболочку и вновь начинает всё с чистого листа.

Чуть позже Бернет все же одерживает первую победу, вынудив собеседника к признанию, важному для его биографа: «Однако он не стал отрицать того, что после совершения определенных поступков впадал в сильное и удручающее смятение». Второй этап спора закончился довольно-таки жалким признанием:

Система религиозных верований как таковая и взятая в целом представляет собой для человека верующего причину успокоения куда более вескую, чем какая бы то ни было другая; да и его собственный душевный покой основывается единственно на том, что такая всемилостивая Сущность, как Божество, не оставит его прозябать в убожестве.

Рочестер уже достаточно запутался для того, чтобы забыть о собственных словах, будто идея Бога не включает в себя ни добра, ни зла, а следовательно, и никакой милости. Нотки усталости и отчаяния слышатся в приводимых Бернетом словах Рочестера: «Блаженны верующие, вот только не каждому дано уверовать».

Но Бернет не собирался останавливаться на достигнутом. Он обсудил с Рочестером его представления о морали и о Боге — и обнаружил, что они запутаны и неверны. Теперь он завлек смертельно больного человека в разговор о Священном писании. Рочестер сказал ему (и слова эти столь характерны для поэта и несут на себе такой отпечаток именно разговорной речи, живого человеческого голоса, что можно не сомневаться в том, что Бернет сделал эту запись, едва вернувшись к себе домой по завершении беседы):

Он не понимает всей этой истории с божественным наитием; ему кажется, что святые писатели были людьми горячими и честными, но писали они из собственной головы... Божественное наитие заключалось в том, чтобы дать этим людям силу обмануть и заморочить весь мир... По миру вечно бродит множество невероятных историй, потому что дерзость и искусство вралей, столкнувшись с простодушием и легковерием слушателей, обеспечивает врялям возможность с легкостью добиться чего угодно.

Это слова человека, выдававшего себя за лекаря и астролога на Тауэр-Хилл, за кабатчика в Ньюмаркете, занимавшегося любовью, придя в чужой дом в образе посыльного, и разгуливавшего по улицам в нищенских лохмотьях. И человека, стоявшего на палубе «Возмездия», когда флотилия Теддемана позорно бежала из-под Бергена; человека, ныне наблюдающего, как ни в чем не повинных людей отправляют на плаху единственно за их профессиональную принадлежность; человека, протестующего против того, что казни египетские, оказывается, вполне совместимы с природой Высшего Божества. «Брань, блуд, безумие, бойня, боль навек». Этот вопрос терзал его при работе над «Императором Валентинианом» — и теперь за него сухим тоном разума взялся ответить Бернет.

Свое неприятие разума Рочестер выразил уже в «Сатире на род людской». Он объявил, что разум для человека — это ignis fatuus[82]:

Шестое чувство — разум — срок создать,

Раз примитивны остальные пять;

И он уже не пять раз нам солжет,

А пятьдесят, а то и все пятьсот...

Перед каким-нибудь святым, которому знакомо живое чувство веры, Рочестер, может быть, и капитулировал бы — но в ответ на разумные, чересчур разумные аргументы многоопытного церковника не раз и не два повторял: «Если человек говорит, что бессилён поверить, чем тут можно помочь? Верованиям-то своим он же не владыка».

Постепенно Рочестер начал понимать, что Бернет не в состоянии дать исчерпывающий ответ на мучающие его собеседника вопросы; начал уставать и сердиться. Бернет указал на чудеса как на своего рода божественную гарантию людям в том, что они не ошиблись в выборе религии. «Но почему же, — возразил Рочестер, — нельзя было установить вместо этого твердые правила игры; достойно ли прибегать к трюкам, чтобы убедить мир в том, что ты говоришь с ним именем Господа?»

Бернет набросился на него:

Я сказал ему, что мне понятно, как скверно он обращается с дарованным ему остроумием, притрагиваясь к священным понятиям столь недостойным, а то и непристойным образом, и что удовольствие, получаемое им от безумных бутад, вроде сравнения чудес с элементарными фокусами, только мешает ему приникнуть к сверхъестественному с тою тщательностью и благоговейностью, каких оно заслуживает и требует.

Но тут Рочестер обрушился на христианскую веру в неисповедимое:

Как, сказал он, можно поверить в то, чего нельзя понять, в то, чего нам даже не дано выявить и заметить при помощи органов восприятия? Понятие неисповедимого и базирующиеся на нем таинства, сказал он, как раз и являются фокусами, позволяющими священнослужителям обманывать людей и завлекать их в точности туда, куда духовенству и хочется их завлечь; ведь назови фокус таинством, заведи речь о неисповедимом — и люди будут укрощены и поверят всему, что ты говоришь. А запрет на половое общение с женщинами (кроме освященного узами церковного брака) и на развод представлялся ему неразумным посягательством на человеческую свободу.

На слова Бернета, сказанные в ответ на это, — «высокой награды заслуживает только то, что достигается превеликим трудом», — Рочестер язвительно возразил: «Насчет превеликого труда можно не сомневаться, а вот в высокую награду как-то не верится».

И в конце концов недвусмысленно объяснил Бернету, что

ничто не приносит ему и великому множеству других, пребывающих, подобно ему самому, на стезе порока, столь сильного тайного удовлетворения, как мысль о людях, утверждающих, будто они веруют, а на самом деле ведущих себя так, что к их словам о вере нельзя отнестись серьезно; потому что он убежден в том, что религия либо великий обман, либо самая важная вещь на свете; и если бы все же уверовал он сам, то серьезнейшим образом озаботился бы тем, чтобы жить в полном соответствии со своей верой.

Бернет предоставил Рочестеру причины, по которым тому следовало бы уверовать, но саму веру внушить ему не сумел. Конечно, Рочестер покался в том, что его действия причиняли вред ближнему, но это чисто рассудочное покаяние не могло ничего изменить хотя бы в краткосрочной перспективе. Ничто из сказанного обоими собеседниками в ходе долгих споров не смогло предотвратить нападения наемников на Драйдена в Аллее Роз.

В апреле 1680 года Рочестер уехал из Лондона в Вудсток, будучи охвачен яростью, а отнюдь не раскаянием. Его здоровье улучшилось настолько, что он оказался в состоянии доскакать верхом из Вудстока до Инмора в Сомерсете; вернулись и все его прежние желания, что нашло отражение в проникнутом страстью одноименном стихотворении:

О, стань я весь — от сердца до кишок —  
Сплошную спермой, чтоб ворваться мог  
К тебе в п...у единственным толчком,  
И девять лун там просидел молчком,  
Обрел иную плоть, иной скелет,  
И заново бы вы.бся на свет!

Позже он скажет материнскому капеллану Парсонсу, что в пути «спорил с Богом и религией еще отчаяннее, чем на протяжении всей прошлой жизни, и преисполнился решимости обрушиться и на Него, и на нее всю мощью собственной аргументации и, не таясь, выхаркнуть миру всю правду». И человек, ошибочное сообщение о смерти которого вызвало облегченные вздохи еще год назад, вновь начал писать стихи. В эту последнюю — и самую краткую — пору поэтического вдохновения написано, в частности, «Подражание Первой сатире Ювенала». Это стихотворение начинается строками, проникнутыми вроде бы уже начисто забытым юношеским куражом:

Сидеть ли в окруженье дураков,  
Как будто я и сам точь-в-точь таков?  
Знакомство с рогоносцами свести  
И радоваться: я у них в чести?  
С Эрраном, Эрпом, что ли, заседать?  
С мудилой Фрэнком в фантики играть?

Даже друзья перестали чувствовать себя в безопасности. Ведь еще в марте Рочестер чуть было не подрался на дуэли, заступившись за Эррана. И тогда же написал Сэвилу, что живет теперь всем назло. Мало кому удалось избежать стрел его сатиры и в этом, судя по всему, последнем стихотворении Рочестера (так называемое «Прощание Рочестера с бранным миром» — практически наверняка подделка). И, уж разумеется, ни король, ни его фаворитки («подлые поверженные суки») не избежали его саркастического взгляда, воспламененного напрасной надеждой на то, что смерть придет по душу Рочестера еще не завтра:

Монархом стать ли — с Нелли на перине  
Или с ее соперницей-гусыней?  
А может, Саутхемптоном рогатым?  
А может, Йорком, трижды виноватым?  
Кто согласится быть таким, как Грин?

Таким, как Джеймс, злосчастный сукин сын?

Таким, как Галифакс, как Сандерленд,

Таким, как Пемброк, жалкий инсургент?

Кто хочет стать дубиной Томом Тинном

И Драйденом, поддавшимся дубинам?

В авторе этих строк трудно узнать смертельно больного человека, на протяжении довольно долгого времени внимательно и терпеливо прислушивавшегося к поучениям англиканского проповедника.

Однако ремиссия была недолгой. И поездка верхом в Сомерсет по крутым горным тропам, разумеется, оказалась напрасной затеей. «Быстрая езда верхом на ветру обернулась воспалением мочевого пузыря, вызвавшим чудовищную боль и в сопредельных органах. Домой в Хай-Лодж он добирался уже в карете, да и то — с превеликими мучениями».

Отныне никакой поэзии, никакой сатиры, никакого бунта против всего на свете. Рочестер некогда изучал медицину, а значит, теперь прекрасно понимал, что природа его заболевания исключает хоть сколько-нибудь благоприятный исход. И его дух обратился вспять — на стадию недавних разговоров с Бернетом, — изводя себя к тому же мыслями о том, как быстро оказались преданы и забыты недавние благие намерения. Поэт начал верить в то, что смерть позволит ему избавиться от обузы, в качестве каковой рассматривал с недавних пор свое тело. «Это больше не было темной меланхолией самого общего свойства, с которой он сталкивался и раньше, — его терзала всепроникающая острая боль. И хотя на протяжении нескольких недель невыносимые страдания испытывало и тело, душевные муки, будучи еще сильнее, время от времени оттесняли телесные страдания на задний план».

«Длань Господня коснулась его», — написал Бернет, но прикосновение это было вызвано отнюдь не рациональной аргументацией модного проповедника. Если Бог в конце концов и явился Рочестеру, то не победной поступью Судии сквозь главные ворота под неумолчные фанфары англиканского здравого смысла, а, скорее, как тать в глухой ночи. Произошло это, когда материнский капеллан читал Рочестеру пятьдесят третью главу из Книги Исаии. Полагая, подобно Бернету, что к сердцу Рочестера проще всего пробиться доводами рассудка, капеллан продуманно выбрал для чтения вслух строки, в которых пророчески предсказаны Страсти Христовы. Но прежде чем эта аргументация была предъявлена, так сказать, в полном объеме, религиозное обращение уже свершилось — и произошло это внезапно; не как хорошо подготовленный и продуманный поступок, но как акт милосердия. «Внимая Священному писанию, он почувствовал, как у него появляется внутренняя сила, которая настолько высветила и осветила его мысли и убедила его в своей правоте, что он оставил малейшее сопротивление; внутренний голос звучал столь властно, что каждое его слово казалось рассекающим мрак лучом». Слова же эти были библейскими: «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему».

Чтение капеллана било прямо в цель: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его... Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом...» Рочестеру в этих словах наверняка почудилось описание его собственного случая. Сколь бы очаровательным ни был он в общении с Сэвиллом, Бакхерстом и Бекингемом, совершенно другое впечатление он

производил на людей, не тронутых порчей двора; они, подобно леди Уорвик, считали блеск его ума всего лишь «факелом, озаряющим ему добровольно избранную дорогу в ад». Но вот слово Господне донеслось до его слуха в самое последнее мгновение, и ему удалось встать на путь истинный.

Это чудесное перерождение было встречено клириками не без настороженности. Один за другим они зачастили к Рочестеру. Парсонс практически не отходил от его ложа; епископ Оксфордский навещал его каждую неделю; навещался к нему и доктор Маршалл, ректор колледжа Линкольна и настоятель тамошней церкви. Священники, озабоченно переговариваясь друг с другом, следили за тем, чтобы «мир с собой, к которому он устремился, не оказался бы чересчур легким, а значит, и ненадежным». Вскоре к ним присоединились доктор Бернет и доктор Прайс из церкви Святой Магдалины.

Главным из лечащих врачей Рочестера был доктор Радклифф (которому Том Браун посвятил «Семейную переписку») — человек остроумный и сильно пьющий. «Я не должен, да и, уверен, не смогу пропеть Вам и Вашему приятию мира лучший панегирик, нежели упомянув, что Вы имели счастье дружить с лордом Рочестером, что он получал удовольствие от разговоров с Вами, а что касается уровня и качества беседы, то даже враги милорда считали его в этом отношении высшим судьей». Но, если свидетельство Тома Брауна заслуживает доверия, Радклифф порой заставлял даже самых высокопоставленных пациентов дожидаться себя, надолго уединяясь с бутылкой. В стихах на смерть герцога Глостера Браун выразился так:

Мы с жалобами к Радклиффу спешим,

А он сидит с бутылкой, нелюдим;

Вотще прождав врача, людишки мрут,

А шарлатан-убийца тут как тут:

Раздаст пилюли, ими и убьет;

А доктор Радклифф пьет себе и пьет.

Но за жизнь Рочестера боролся не только доктор Радклифф. Среди его врачей были приехавшие из Лондона доктор Шорт и доктор Лауэр, а также сын сэра Томаса Брауна доктор Эдвард Браун.

Престарелый писатель с интересом следил за новостями о состоянии здоровья пациента его сына, не брезгуя и тем, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации. 7 июля он написал:

Мой дорогой сын... я узнал, что на следующей неделе ты намереваешься вновь посетить Вудсток. И, поскольку ты окажешься в парке, где я некогда высадил замечательные растения, упоминаемые Аристотелем, а затем и Скалигером, осведомись об их судьбе... Нам довелось услышать о великом покаянии и преображении лорда Рочестера, поэтому все добрые люди молятся за него и желают ему всех благ — и чудесного исцеления на земле, и счастья за гробом; тщательно разберись во всем и обстоятельно отпиши мне; подобно тому, как моя кузина Уитерли, живущая у Дж. Уитерли, следит за развитием событий и подробно информирует свою матушку в Норвиче.

Итак, у смертного одра в Хай-Лодже собрались следующие персонажи: мать поэта, шестидесяти шести лет от роду, уже успевшая пережить двух мужей и двух сыновей; жена



поэта, помнящая и об авантюрном похищении из кареты, остановленной вооруженными людьми, и о долгой одинокой жизни в Эддербери; дети поэта; старый Кэри, сумевший сберечь хозяйское добро в годы невзгод; лечащие врачи (несколько человек) и еще большее число церковников; и, наконец, еще один пациент мисс Фокар и Лезерлейн, Уилл Фэншоу, исхудалый и полупарализованный, со ртом, изъеденным сифилисом, — служащий полуживым примером того, что запоздалое покаяние не сулит ничего хорошего.

В самом конце мая или в самом начале июня Рочестер исповедался, покался и был соборован. Парсонс приехал в Вудсток 26 мая, а с первых же дней июня Рочестер принялся убеждать — и убедил — жену вернуться из католической веры в лоно англиканской и приобщиться вместе с ним Святых Тайн. Джон Кэри писал сэру Ральфу Вернею, который был наставником юного графа в давние дни в Дитчли:

Боюсь, лорду Рочестеру жить осталось совсем недолго; он здесь, в Лодже, и его матушка, моя благодетельница, тоже, и его супруга; здесь же и врачи — доктор Шорт из Лондона и доктор Радклифф из Оксона. Сам милорд очень плох. Господи Всемогуший, смилостивься над ним, если на то будет воля Твоя, потому что он превратился в совершенно другого человека, самого благостного и богобоязненного из всех, кого мне доводилось встречать, и, конечно же, сумеет в дальнейшем прожить чрезвычайно достойную жизнь, если Бог отпустит ему еще земного времени; однако я на это почти не надеюсь, потому что он в настоящее время слишком слаб и слишком болен. Куда большее утешение нам приносит мысль о том, что, как мы надеемся, теперь он будет счастлив на том свете, если Господу Богу будет угодно прибрать его к себе; дальнейшим утешением для моей благодетельницы и для всех нас во глубине нашей печали служит то, что его супруга вернулась к своей первой любви, сиречь к протестантизму; в прошлое воскресенье она вместе с мужем приобщилась Святых Тайн, а затем участвовала в общей молитве, так что, если Господу будет угодно вернуть лорду здоровье и силы, радость его матушки и всех нас, кто любит его, не будет знать границ.

Примерно в то же самое время старая леди Рочестер пишет своей сестре леди Сент-Джон в Баттерси:

Ах, сестра, слышала бы ты молитвы, которые он вознес к небу с тех пор, как заболел, и те невероятные слова, которые он нашел в себе силы вымолвить, к нашему всеобщему изумлению, — ты изумилась бы и сама и наверняка подумала бы, что так наставить его на путь истинный мог единственно Господь Бог наш, потому что, как Джон сам всегда утверждал, людей он по этим вопросам выслушивать не желает. Он также, должна сказать тебе, уговорил жену вернуться в протестантизм. Молись за то, чтобы он остался в живых; молись, дорогая сестра.

Уже во второй раз ошибочное известие о смерти Рочестера разнеслось по Лондону. 5 июня доктор Бернет написал лорду Галифаксу, брату Сэвила:

Уилл Фэншоу только что сказал мне, что пришли письма от графа Рочестера, который на данный момент, судя по всему, уже умер. К нему послали доктора Лауэра, полагая, однако же, что тот не успеет застать его в живых; у графа прорвалась язва в мочевом пузыре, он мочится кровью и испытывает чудовищные страдания. Он глубоко раскаялся в былых прегрешениях и убедил жену приобщиться вместе с ним Святых Тайн, а затем отправиться в церковь и провозгласить себя протестанткой; умирает он, покаявшись, как истинный христианин. Уже после того, как Фэншоу сообщил мне все это, я узнал, что он умер. Никак не комментирую это известие, потому что Вы, Ваша светлость, сделаете это куда лучше меня.

Однако комментарии, сделанные Галифаксом, едва ли пришлись бы по вкусу Бернету: «...мир настолько сошел с ума, что жить в нем для человека мыслящего самый настоящий позор».

7 июня состояние Рочестера продолжало оставаться критическим, и могло показаться, что время не предоставит ему шанса проверить серьезность и искренность христианского преобразования. «Он вот-вот умрет, — написал сэр Ральф Верней, — его мать просидела возле него всю прошлую ночь». Но Рочестеру вновь удалось на какой-то срок оттянуть неизбежный конец, и слухи о его смерти, разнесшиеся по Лондону, опять оказались преждевременными.

Бернет в письме Галифаксу от 12 июня высказал осторожное опасение, не прервется ли по выздоровлении поэта и его религиозное рвение; у него уже имелся опыт того, как мало весят любые доводы в споре с Рочестером.

Граф Рочестер жив и, судя по всему, идет на поправку; во всяком случае, с язвами, похоже, покончено. Весь Лондон только и говорит о его великом покаянии, которое, как я с соизволения Вашей светлости надеюсь, все же обретет более твердую почву, нежели безудержный полет фантазии; да ведь и впрямь, о каком возвращении к жизни телесной оболочки может идти речь, если человек тратит духовные и душевные силы с таким безрассудством, как свойственно было ему в прошлом?

Тремя днями позже Кэри все еще считал полное исцеление возможным:

Милорд, как мы надеемся, выздоравливает, хотя состояние его остается нестабильным; но хотя бы на смену дурным ночам приходят хорошие дни, что позволяет ему пребывать в прекрасном настроении; однако он очень слаб и вместе с тем чрезвычайно приветлив.

Меж тем в Лондоне начали говорить о Рочестеровом покаянии с куда менее деликатной опаской, чем Бернет; речь попросту зашла о том, что граф, должно быть, сошел с ума. Родная мать бросилась на защиту сыну, но, умея яростно нападать, она так и не научилась столь же яростно защищаться; к тому же много сил отнимали у нее тревога о сыне и уход за ним.

Воистину, сестра, без малейшей утайки, ни разу я не слышала от него, когда он говорил о религии, ни единого вздорного слова, да и когда говорил о чем угодно другом — тоже; лишь однажды ночью, о которой я тебе уже писала, у него помутился рассудок, но и тогда он не сказал ничего обидного, только какую-то бессмыслицу, от которой никому не могло быть вреда... А вот прошлой ночью, если бы ты только слышала, как он молится, я уверена, ты приняла бы его слова не за речь безумца, но, напротив, за речения мудреца, превышающие разумение людей обычных. Но пусть мерзавцы говорят о нем все что вздумается: грубая брань из таких уст лишь делает ему честь. А я утешаюсь тем, что сие суть диаволовы козни: мой сын победил в себе сатану, победил — и изгнал, вот тот и злобствует. Его прежние приятели буквально заваливают его письмами, полными приторной и притворной лести, а он их и знать не хочет, и писем их не читает, твердя лишь одно: «Не хочу видеть этих людей, а будь на то воля Господня, мне и не следовало кое с кем из них знаться». Один из его врачей, желая подбодрить сына, сказал ему, что вчера здравицу в его честь провозгласил сам король; сын сурово посмотрел на него и, так и не произнеся ни слова, отвернулся. Слава Б-гу, помыслы его нынче совершенно далеки от нашего мира, и я надеюсь, что так оно будет и впредь, выживет он или умрет. Но что за людишки они там, в Виндзоре, все-таки, Господи, прости их! Наверняка ни на кого еще не выливали столько грязи и не приписывали ему такой чепухи[83], как моему несчастному сыну, — причем именно сейчас, когда он (и им это прекрасно известно) лежит на смертном одре... А если уж кто-то и распускает слухи о том, что он несет околесицу, то это наверняка врач-папист[84], подслушавший однажды из-за двери, как мой сын беседует с Господом; вот только говорил Джон так тихо, что клеветник наверняка не расслышал и половины — и принял остальное за бессмыслицу потому, что ему слишком хотелось, чтобы именно так оно и было.

Как раз в период краткой ремиссии «людишки» из Виндзора решили подослать к Рочестеру

собственного лазутчика — и в Вудсток прибыл Уилл Фэншоу. 19 июня леди Рочестер написала сестре:

Здесь побывал мистер Фэншоу, закадычный друг сына, и постоял у постели, а сын строго и сурово посмотрел на него и сказал: «Фэншоу, подумай о Господе и, позволь дать тебе совет, покайся в прошлой жизни и попроси прощения за всё, что ты учинил. И поверь мне: Бог есть, и Он всемогущ и безжалостен к нераскаявшимся грешникам; близится срок Его суда над нами, и великий ужас объемлет тогда заблудших и закосневших во грехе; поэтому не откладывай покаяние на завтра, иначе поразит Он тебя громом небесным. Мы с тобой подружились давным-давно и свершили вместе немало недобрых дел. Я люблю тебя и говорю с тобой искренне и для твоего же собственного блага». Выслушав все это, Фэншоу не произнес в ответ ни слова и крадучись вышел из опочивальни. И когда мой сын увидел это, то сказал: «Он что, уходит? Несчастный человек. Боюсь, что сердце его очерствело». А потом Фэншоу сказал кому-то из живущих у нас, что моего сына следовало бы как-то отвлечь от мрачных фантазий. И эти слова передали сыну, а он сказал: «Я знаю, почему он так говорит; я ведь дал ему совет, который его расстроил; но я просто не имел права поступить по-другому, а уж как он воспринял этот совет, это дело его».

Как Фэншоу воспринял этот совет, явствует из письма, написанного старой леди Рочестер 26 июня:

Я слышала, что мистер Фэншоу распространяет слухи, будто мой сын сошел с ума, но, слава Б-гу, он далек от этого. Я признаю, что одну ночь и часть следующего дня он был несколько не в себе из-за недостатка отдыха; но с тех пор, как мистер Фэншоу видел его, утекло уже много воды. А когда мой сын попрекнул его грешной жизнью, он был ничуть не безумнее, чем в любую другую пору или чем сейчас, слава Тебе, Господи. Я не сомневаюсь в том, что, если бы ты сама услышала, как он молится, ты бы подумала, что сам Господь вдохновил его на мудрые речения и что ни глупость, ни безумие с ним рядом не лежали. Можно только сожалеть о том, что у этого ублюдка Фэншоу отсутствует осознание собственной греховности, в такой сильной мере присущее моему несчастному сыну; иначе бы он тоже покаялся, пока для этого не стало слишком поздно. Но что за неблагодарная скотина, а еще выдавал себя за верного друга!

А 2 июля она написала:

Я сообщила сыну, что слышала мнение мистера Фэншоу: он-де надеется, что его друг, поправившись, откажется от принципов, которые сейчас провозглашает. А он ответил: «Несчастный! Да лучше бы я всю жизнь водился с каторжанами, чем с ним и ему подобными, я имею в виду всю компашку. Ни за что на свете я не вернулся бы к той жизни, которую вел раньше».

19 июня, вскоре после визита Фэншоу, Рочестер продиктовал текст, ставший позднее известным как «Покаяние на смертном одре», и скрепил его подписью в присутствии матери и капеллана. В написанном «во благо всех тех, кого я ввел или мог ввести во грех собственным примером и наущением» духовном завещании значится, «что в глубине души я презираю и проклинаяю всю мою прежнюю порочную жизнь». Судя по всему, он опасался того, что устное завещание могло бы быть искажено или превратно понято, а вот от подписанной при свидетелях бумаги такого подвоха не ждал. По словам Обри, он велел созвать слуг — «вплоть до последнего свинаря» — и зачитать им «Покаяние на смертном одре». 25 июня он продиктовал ответное письмо на одно из пришедших от Бернета: «Мои дух и плоть распадаются столь синхронно, что и письмо, которое я сейчас пишу, будет столь же слабым, сколь плох сейчас я сам. Церковники постепенно начинают казаться мне лучшими людьми на всем белом свете, а Вы — лучшим церковником из всех, кого я знаю». В письме он попросил Бернета помолиться за него, однако ничем не дал знать, что желает его приезда. Письмо это произвело на доктора и духовника огромное впечатление, он вычитал между строк куда

больше того, что было сказано в самих строках, и поделился своими восторгами с лордом Галифаксом.

Ко второму июля с надеждами на выздоровление было полностью покончено.

У него совершенно не осталось сил, а тело его все слабеет и слабеет, мы страшимся того, что он просто-напросто задохнется, хотя как раз с легкими у него все в порядке. Он много спит, и голова у него по большей части ясная. Сегодня его подняли с постели и на час усадили в кресло, и от этого ему не стало хуже. Он сейчас не особенно стремится поговорить, но, если все-таки заговаривает, голос его звучит по большей части твердо и мысли он формулирует четко. Возгласы его бывают настолько внезапны, что присутствующие порой пропускают их мимо ушей, а повторять он не повторяет ничего; и все же какая-то часть сказанного им в эти дни, не сомневаюсь, запомнится надолго.

8 июля леди Сандерленд доверительно сообщила лорду Галифаксу, что Рочестер уже не жилец: «У него две прободные язвы в разных местах. Он ни с кем не видится, кроме матери, жены, священников и врачей». Можно подумать, что такого общества умирающему было вполне достаточно, однако в самом начале июля он обратился с мольбой к доктору Томасу Пирсу: «Возьмите Небо приступом и позвольте мне войти туда вместе с Вами, словно под маской!» Слова «словно под маской» заставляют вспомнить о шарлатане Александре Бендо и о «французском» парике графа Рочестера-старшего.

20 июля в Вудсток прибыл Бернет. Он застал Рочестера в глубоком унынии; азарт покаяния уже прошел, хотя Рочестер и рассуждал по-прежнему о собственном «обращении» как о «данности, нарастая, достигнувшей уровня спокойной торжественности». Беспокоился поэт, пожалуй, лишь из-за того, в какой мере окажется эффективным столь запоздалое раскаяние, однако доктор Маршалл и епископ Оксфордский сумели убедить его в том, что волноваться на сей счет не надо. Что же касается прощания с миром, Рочестер и сам поспешил подвести итоги. «Он преодолел малейшую неприязнь, испытываемую прежде к земной жизни; он объявил, что ни на кого больше не держит зла». Несмотря на коварный пункт в завещании, передающий его матери разве что не безраздельную власть над вдовой, он попрощался с женою не как многогрешный муж, но, скорее, как сгорающий от страсти любовник. «Он выказал супруге такую любовь и такую нежность, что это с легкостью перечеркнуло все его былые прегрешения перед нею, так что и она сама пеклась о нем с трудно вообразимой горячностью и заботой». От детей своих Рочестер всегда был без ума. И сейчас он то и дело призывал их к себе. «Однажды, — писал Бернет, — он попросил меня и впоследствии приглаживать за ними, сказав при этом: "Подумайте только, как милостив был ко мне Господь, осыпав меня столь многими благословениями, а я вел себя по отношению к Нему как жалкий неблагодарный пес"». А однажды, в присутствии Парсонса, он сказал, что не хочет, чтобы его сын вырос умником и острословом.

Когда Бернет приехал к Рочестеру, поэту оставалось жить лишь какую-то неделю. Хотя однажды, после спокойной ночи, проведенной под воздействием снотворного, ему показалось, будто он поправляется, воли к жизни у него уже не осталось. Его мучили страшные боли; он исхудал и походил на скелет; к язвам во внутренних органах добавились нарывы и пролежни.

Он заявил, что в равной мере приемлет и смерть, и жизнь, потому что на всё воля Господня, и хотя с его стороны было бы наглостью полагать, будто он обладает возможностью свободного выбора, но, если бы такая возможность имелась, он предпочел бы умереть. Он понимал, что в любом случае никогда не сможет поправиться до такой степени, чтобы дальнейшая жизнь стала не только приятной, но хотя бы более или менее выносимой. И, больше не сомневаясь в том, что его ждет загробное блаженство, он боялся, оставшись в живых, погубить себя заново — и навеки.

В пятницу, 23 июля, узнав от врачей, что сиюминутной кончины Рочестера ждать не следует, Бернет собрался было уехать, но Рочестер — с редкой для него в этот период горячностью — попросил его задержаться еще хотя бы на день. В четыре часа утра 24 июля украдкой, чтобы не тревожить больного, Бернет уехал.

Через несколько часов после этого он спросил обо мне и, узнав о моем отъезде, в расстроенных чувствах сказал: «Раз уж мой друг покинул меня, значит, я скоро умру». После этого — вплоть до самой кончины — он нарушил молчание лишь единожды или дважды. Он лежал, не произнося ни слова. Правда, один раз присутствующие услышали, что он исступленно молится. А в понедельник, в третьем часу утра, он умер во сне без каких бы то ни было признаков агонии и не издав и вздоха.

[85]

9 августа «нашего благородного и прекрасного графа» (по выражению Энтони Вуда) похоронили в фамильном склепе при церкви в Спелсбери; на следующий год там же нашли последний приют его жена и сын. Панихиду по графу отслужил Роберт Парсонс, и его описание Рочестера как «великого человека и великого грешника», опубликованное чуть позже — и практически одновременно с повествованием Бернета о жизни поэта, — положило начало всеобщему преклонению перед Рочестером и его творчеством. Лишь Малгрейв со своими словами о «тошнотворных виршах покойного ренегата» остался, разумеется, в стороне.

На сцене смерть графа Розидора была оплакана в спектакле по пьесе Ли; в пролог к не завершённому самим Рочестером «Императору Валентиниану» мисс Бен вписала строки (вложив их в уста его бывшей возлюбленной мисс Барри), в которых его поэтический гений сравнивается с бесспорной по тогдашним меркам гениальностью Флетчера; пока эти строки звучали с подмостков, женщины, любившие поэта, вздыхали в партере и на галерке.

Я вижу здесь красавиц в длинных платьях,

Что побывали у него в объятьях

И нынче страждут...

Для Эфры Бен он теперь был «великим богоравным Рочестером»; для сэра Фрэнсиса Фейна — «ангелическим лордом»; для Томаса Флэтмена — «Стрефоном»:

Стрефон — красавец и смельчак,

Аркадских лебедей вожак,

Сын благородный здешних долов...

На взгляд его родственницы мисс Уортон:

Он юных научил, он дерзких приручил,

Он глупых вразумил — так бесподобен был

Всеобщий судия, наставник и зоил.

Если кто-нибудь и вспоминал греховное прошлое Рочестера, то тут же подвергал его поразительной трансформации. Вот строки Сэмюэла Вудфорда, также учившегося в колледже Уодем:

Мы славу Господу сейчас провозгласим:

Новопреставленный Рочестер убыл к ним,

Кого при жизни отрицал, — к святым.

Мистер Эллистон в роли лорда Рочестера в «новой исторической бурлетте»[86] «Рочестер, или Развеселые деньки короля Карла Второго», поставленной на сцене театра «Олимпик» в ноябре 1818 г[87]

Сэр Фрэнсис Фейн, сравнивая Рочестера с генералом Монком, «преподнесшим своему сюзерену три королевства», утверждал теперь, будто поэт грешил единственно затем, чтобы вызвать ложное ощущение собственной безопасности у самого сатаны, тогда как на самом деле оставался тайным союзником человечества в борьбе против дьявольских козней.

Скрепив союз с тобою, сатана,

Возликовал: да здравствует война,

В которой мой блистательный вассал

Разить сатирой будет наповал!

Но к вящему смятению его

Из этого не вышло ничего;

Напротив, твой божественный глагол

Народы в кущи райские привел.

Фэншоу и прочие придворные могли сколько угодно высмеивать предсмертное покаяние Рочестера, утверждая, будто он всего-навсего сошел с ума; голоса былых приятелей по Лезер-лейн и Ветстоун-парку заглушал тысячеустый хор церковников, разнесших весть об обращении поэта в истинную веру и по всему Лондону, где он когда-то строил из себя то честного купца, то выдумщика-астролога, и по всей стране, где его имя давно уже успело

стать нарицательным, превратившись в символ распутства, охватившего Уайтхолл. Некоторые из его стихов прежней — и лучшей — поры дошли и до наших дней, пробыв долгие века под «этическим арестом», но куда большее количество было безвозвратно утрачено в ходе этой окончательной виктории, одержанной пуританами над «кавалерами». Может быть, еще большей потерей стала гибель в огне его писем к Сэвилу с содержащейся в них подлинной историей светской жизни эпохи Реставрации. Однако сам Рочестер попросил мать сжечь весь его архив, чтобы его личный пример и скромное содержание его творений не смогли ввести во искушение новых читателей, и она скрупулезно выполнила эту просьбу. «Кстати, — написал однажды Хорейш Уолпол, — не пересказывал ли я тебе самого прелестного красного словца, принадлежащего мистеру Бентли? Он рассказал мне о старой богобоязненной леди Сент-Джон, которая сожгла целый сундук писем прославленного лорда Рочестера. "И за это, — сказал мистер Бентли, — ее душа нынче горит в раю!"»

## Примечания

1

Портрет предположительно работы Джейкоба Гюисманса, 1675. Предоставлен лордом Бруком, замок Ворвик.

2

Подобным образом помечают порнографические издания. —

Здесь и далее, кроме отдельно оговоренных случаев, примеч. пер.

3

То есть Джону Донну.

4

В настоящем издании опущен. Фактография приведена в соответствии следующим источникам:

Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / Под ред. Н. А. Хачатурян. М.; СПб.: Алетейя, 2001;

Эрланже Ф. Эпоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558–1715 гг. Смоленск: Русич, 2005;

Законодательство английской революции 1640–1660 гг. М.: Издательство Академии наук СССР; Институт права, 1946;

Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е. А. Косинского и Я. А. Левицкого. М.: Издание Академии наук СССР, 1954.

5

Рисунок У. Н. Гарднера. Музей археологии и искусства Оксфордского университета.

6

Так называли роялистов, сражавшихся на стороне Карла I.

7

Живописное панно 1674 г. Поместье Дитчли.

8

Гравюра М. Ван дер Гюхта по рисунку Р. Ла Верга. Национальная портретная галерея, Лондон.

9

Оксфордский историк (1632–1695), автор трактатов «История и древности Оксфордского университета» и «История всех писателей и епископов Оксфорда», которые современники упрекали в многочисленных ошибках.

10



Модный англиканский проповедник и летописец своего времени, который в последние годы жизни Рочестера был его духовным наставником.

11

Годы военной диктатуры лорда-протектора Оливера Кромвеля и его сына Ричарда (1653–1659).

12

Гравюра А. Боссе. Библиотека иллюстраций Халтон.

13

Актом о добровольном и общем прощении, освобождении и забвении, принятым в 1660 году в соответствии Бредской декларации, Карл II обещал прощение всем подданным, которые в 40-дневный срок присягнут на верность королю (за исключением лиц, принимавших участие в казни Карла I).

14

Из книги «Oxonia Illustrata» Д. Логгана 1665 г. (копия Лондонской библиотеки).

15

Английский историк (1678–1735), хранитель оксфордской библиотеки Бодлейан.

16

Из книги «Oxonia Illustrata» Д. Логгана 1665 г. (копия Лондонской библиотеки).

17

Сэмюэл Пепис (1633–1703) — английский бытописатель и политический деятель, секретарь лорда-канцлера. В период Реставрации играл важную роль в политической жизни страны, реформировал управление английским флотом. В его «Дневнике» ярко описаны события второй половины XVII в.

18

Портрет работы сэра Питера Лили. Национальный музей мореплавания, коллекция больницы Гринвич

19

Одним из самых ранних источников сведений о жизни Рочестера служит «письмо, написанное мистером Сент-Эвремом кардиналу Мазарини», впервые опубликованное в сборнике стихов Рочестера в 1701 году. Джон Хэйворд, издатель настоящего Сент-Эвремона, оспорил идентичность этого письма. Поэтому автор, представленный здесь, будет в дальнейшем именоваться псевдо-Сент-Эвремом или просто «Сент-Эвремон». —

Примеч. авт.

Шарль Сент-Эвремон (1613–1703) — французский писатель, блестящий парадоксальный вольнодумец. После обнаружения его письма с осуждением мирного договора, заключенного Мазарини с Испанией, был вынужден бежать в Голландию, а затем переселился в Англию, где вращался в придворных кругах.

20

Из сборника «Oxonia Illustrata» Д. Логана 1665 г. (копия Лондонской библиотеки).

21

Британский музей.

22

То есть сам поэт.

23

Портрет работы сэра Питера Лили, 1675. Предоставлен графом Брэдфордом.

24

Портрет работы сэра Питера Лили. Предоставлен попечителями Гурвуд-хаус.

25

Предоставлена Обществом антикваров Лондона.

26

Картина, написанная Антонио Веррио для Карла II и размещенная во Второй опочивальне в Уайтхолле. С высочайшего разрешения Ее Величества Королевы.

27

Золотой медальон Кристофера Адольфсона 1666 г. Британский музей.

28

Так их современник поэт Эндрю Марвелл назвал компанию «либертенов» из ближайшего окружения короля, в которую входили Рочестер, лорд Дорсет, сэр Этеридж, сэр Сэдли и др. Позднейшие историки окрестили их «придворными остроумцами».

29

Британский музей.

30

Картина А. Сторка. Национальный музей мореплавания.

31

Портрет работы сэра Питера Лили. Коллекция полковника сэра Эдварда Малле.

32

Гравюра В. Холлара из цикла «Политическая и светская сатира», 1681. Британский музей.

33

Гравюра В. Холлара, 1643. Национальная портретная галерея, Лондон.

34

Сборник стихотворений Альфреда Эдварда Хаусманна (1859–1936).

35

Гарри Киллигрю унаследовал от отца любовь к красному словцу. Незадолго перед описываемым эпизодом он попал в опалу из-за того, что сказал: «Леди Каслмейн в молодости была слегка своенравна» (причем главное оскорбление заключалось в предложном сочетании «в молодости»), а перед самым возвращением Рочестера из Франции Киллигрю-младшего нашли в канаве полумертвым с девятью колотыми ранами, нанесенными наемниками в отместку за острый отзыв о леди Шрусбери, причем организацию покушения молва приписывала не только ей, но и ее любовнику Бекингему. —

Примеч. авт.

36

Буквально: «Дамский договор».

37

Портрет работы сэра Годфри Неллера. Национальный музей мореплавания.

38

Портланд MS PWV, 506. Отдел рукописей университета Ноттингема. Предоставлен графом Портландом и Университетским советом.

39

Предоставлено Обществом антикваров Лондона.

40

Королевская щедрость, судя по всему, вызвала определенное негодование. 28 марта Уильям Арбор написал графу Эссексу: «У Арлингтона произошел вчера резкий спор с Англси, в ходе которого он назвал его холопом, что только справедливо». То, что этот спор затрагивал Рочестера, известно из дневника Англси. Арлингтон был гордым и умным человеком, имеющим свои подходы к королю, тогда как Англси не пользовался особым доверием, «потому что он продавал все что мог, включая самого себя, так часто, что в конце концов цена упала столь низко, что покупать его окончательно расхотели и он стал попросту жалок». В своем дневнике от 27 марта этот человек, которого «ничто не останавливало», пишет: «После заседания госсвета лорд Арлингтон, увидев, как я передаю лорду Рочестеру дарственную грамоту короля, сказал в присутствии лорда-хранителя королевской печати и многих других, что я не соответствую занимаемой должности, что он, впрочем, и не ждал от меня ничего иного и что я с Божьей помощью буду пресмыкаться подобным же образом до конца времен». —

Примеч. авт.

41

Гравюра В. Холлара. Предоставлена Советом колледжа Магдалины, Кембридж.

42

30 января казнен Карл I, а 29 мая провозглашена Реставрация.

43

Гостиница Рейндир, Банбери. Библиотека Бодлейан, Оксфорд.

44

Предоставлена Обществом антикваров Лондона.

45

Гравюра на дереве «Приключения графа Рочестера и лорда Дорсета», 1766. Коллекция автора.

46

Портрет работы сэра Питера Лили, 1665. С высочайшего разрешения Ее Величества Королевы.

47

Портрет работы Филиппа Мигнарда, 1682. Национальная портретная галерея, Лондон.

48

Гравюра на дереве «Приключения графа Рочестера и лорда Дорсета», 1766. Коллекция автора.

49

На самом деле наилучшее доказательство предоставил профессор Пинто, раздобывший копию оригинальной листовки, снятую слугой Рочестера Элкоком в 1687 году для старшей дочери поэта леди Анны Бейнтон. Исходя из этой копии я внес в текст, впервые опубликованный в 1710 году, кое-какие изменения, однако примечательно, сколь незначительными оказались разночтения. —

Примеч. авт. от 1973 года.

50

Гравюра Темпеста с рисунка М. Лаурона. Библиотека Гилдхолл.

51

Предоставлено Обществом антикваров Лондона

52

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

53

Театральная коллекция Реймонда Мандера и Джо Митченсона.

54

Скорее всего, мисс Барри, которая покинула сцену, забеременев от Рочестера. —

Примеч. авт.

55

Английский монастырь сестер и братьев «Звезды Вифлеема», основанный в 1247 году мэром Лондона и служивший затем психиатрической лечебницей, имя которой стало нарицательным.

56

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

57

Избави нас от лукавого (лат. ).

58

Портрет работы сэра Годфри Неллера. Гарик-клуб, Лондон.

59

Гравюра Фрэнсиса Барлоу 1686. Британский музей.

60

Из баллад Роксбура. Библиотека Бодлейан, Оксфорд.

61

Портрет работы Уильяма Уиссинга, 1678. Коллекция графа Лисберна.

62



Фото: Кристина Гасконь.

63

1681. Британский музей.

64

Коллекция Сатерленда, Музей археологии и искусства Оксфордского университета.

65

«Лондон и Вестминстер». Предоставлено Советом колледжа Магдалины, Кембридж.

66

Гравюра М. Била. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

67

Забавно, что Джон Хэйворд включил эти издевательские строки в сборник «Несуществующий Рочестер» как принадлежащие перу самого поэта. —

Примеч. авт.

68

Портрет работы Жака Мобера. Национальная портретная галерея, Лондон.

69

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

70

Гравюра Добсона. Музей Виктории и Альберта, Лондон

71

Герцогу Йорку.

72

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

73

Почтительное посвящение произведения в знак признательности автора.

74

Из листовки 1674 г. Библиотека иллюстраций Халтон.

75

Ставшее нарицательным имя автора стихотворного переложения Псалмов, которого однажды — и тоже в стихах — высмеял и сам Рочестер. —

Примеч. авт.

76

С тех пор, как эта книга была вчерне закончена в 1932 году, профессору Дж Г. Уилсону

удалось доказать, что письмо Рочестера, в котором упоминается «Черный Уилл», было скорее всего написано в 1676 году — то есть за три года до того, как разошлась по рукам сатира Малгрейва. Однако профессор Пинто заходит слишком далеко, утверждая, что подобная датировка доказывает, будто обвинения в организации нападения, предъявляемые Рочестеру, являются «ложными наветами». Конечно, упоминание «Черного Уилла» имеет шуточный характер; конфликт с Драйденом еще не разгорелся, но только наметился вследствие посвящения им новой пьесы Малгрейву. А вот сатира самого Малгрейва могла побудить смертельно больного поэта всерьез задуматься об отмщении. И все же: Рочестер, герцогиня Портсмут или они оба? Ни доказать, ни исключить нельзя ни первого, ни второго, ни третьего. —

Примеч. авт.

77

Предоставлено графом Мальборо.

78

Оппозиционная тори партия буржуазии.

79

Согласно Акту о присяге, для государственной службы требовалось принесение присяги по англиканскому обряду и отречение от католических догматов.

80

1651 (копия Лондонской библиотеки).

81

Коллекция автора.

82

Блуждающий огонек; в переносном смысле — призрачная надежда ( лат. ).

83

Может быть, приписанное поэту стихотворение «Прощание Рочестера с бранным миром» и было этой «чепухой». —

Примеч. авт.

84

Доктор Шорт или доктор Лауэр? Наверняка не доктор Радклифф, друживший с леди Рочестер и остававшийся ее домашним врачом еще на протяжении пяти лет. —

Примеч. авт.

85

Коллекция автора.

86

Спектакль, сочетающий элементы оперы, бурлеска и пантомимы.

87

Гравюра Джона Робинсона. Театральная коллекция Реймонда Мандера и Джо Митченсона.